

**Евгений
Витковский**

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ САД ЭРМИТАЖ

САД ЭРМИТАЖ

ПОЭТЫ  АНТАСТЫ



Евгений Витковский



САД ЭРМИТАЖ

**СТИХОТВОРЕНИЯ
БАЛЛАДЫ**



Престиж Бук

Москва
2016

ББК 84(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1
В54

Оформление *Марины и Леонида Орлушиных*

В оформлении книги использованы фотографии *С. Каверинной*

Витковский Е. В.

В54 Сад Эрмитаж: Стихотворения. Баллады — М.: Престиж Бук, 2016. — 368 с. — (Серия «Поэты-фантасты»)

ISBN 978-5-371-00528-1

Евгений Витковский (р. 1950) известен читателям почти исключительно как поэт-переводчик и писатель-фантаст. Между тем за годы работы в литературе у него скопилось немало стихотворений, из которых сложилась книга «Разговоры в царстве еще живых», – своеобразная апология современного классицизма. Вторую часть нынешнего издания составляет цикл исторических баллад «Русь безначальная»; сюжеты ее охватывают русскую историю за последние пять столетий. Жанр баллады-биографии, в котором написана эта часть книги, впервые использован для создания эпического цикла: в русской поэзии до сих пор встречались лишь единичные его образцы.

«Сад Эрмитаж» – первая и пока единственная книга стихотворений Е. Витковского.

ББК 84(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1

ISBN 978-5-371-00528-1

© ООО «Престиж Бук», 2016
© Е. В. Витковский, 2016
© М. и Л. Орлушины, оформление, 2016

САД ЭРМИТАЖ

*Вечности мы ничего не докажем,
но и теперь, как в далеком году,
в воздухе сумрачном над «Эрмитажем»
кружатся тени в Каретном ряду.*

*Помнят газоны и стены поныне
времени прежнего шумный базар –
здесь выступавшего Гарри Гудини,
здесь выступавшую Сару Бернар.*

*Здесь возникает немало вопросов,
ибо мерещится всякая дичь –
то ли Рахманинов, то ли Утесов,
то ли и вовсе Владимир Ильич.*

*Тянутся в прошлое тайные тропки;
музыку слушая, припоминай
волны Амура, Маньчжурские сопки,
синий платочек и синий Дунай.*

*Кружатся листья и кружатся ветки,
кружатся статуи мертвых богов,
кружатся рыцари русской рулетки,
кружатся девять подземных кругов.*

*Пользы нисколько в старании тщетном
сдвинуть столетия черный обвал.
Чем называть всех, кто был на Каретном,
проще назвать тех, кто здесь не бывал.*

*Но от всего остаются обломки,
рушится времени хрупкая связь;
в память чужую, куда-то в потемки
сад уплывает, как птица кружась.*

*Встретимся, может быть, в мире соседнем,
поезд отходит – и, кажется, наш,
но на прощание в вальсе последнем
кружится, кружится сад «Эрмитаж».*



РАЗГОВОРЫ
В ЦАРСТВЕ ЕЩЕ ЖИВЫХ

1972-2015

* * *

Здесь, на земле, странной пускай и неживой,
город стоит – все-таки твой, все-таки твой.

Если замрет – пусть хоть на миг – сердце в груди,
в каменный лес, в каменный лес лучше найди.

Пусть это бред, пусть это сон, пусть это блажь –
все-таки плюнь через плечо, нечисть уважь.

Под мостовой в трубах, в песке стелется гул –
всё ли с земли ветер ночной нынче слизнул?

Думал, в реке стерлядь живет, либо лещи?
Нет, не уди, нет, не броди, нет, не ищи.

Дом твой давно отдан под склад, пущен на слом –
малой слезы не пророни здесь о былом.

Если солжешь малой слезой, стон вознося,
прахом пойдет исповедь вся, исповедь вся.

Нет ничего здесь, в глубине каменных чаш.
Только горит мертвый фонарь – тускл, но слепящ.

Отражены в черной воде скованных рек
лица, ночь, сто фонарей, десять аптек.

Город и гарь, ветер и смрад. Скажешь не ты ль:
доброй землей станет в конце мертвая гниль.

Может, тогда – верить во мгле не устаю –
бросит Господь семя свое в землю сию.

* * *

Черное масло осенней реки.
Ветер в лицо. Прикосанье руки.

А над рекой – от темна до темна –
кружатся бедность, любовь и война.

Масло в реке – подойти да поджечь.
Вязнет в устах иноземная речь.

Шепчет прохожий, встречая меня:
«Доброго утра, недоброго дня».

Господи, всеу тебя помяну:
что занесло меня в эту страну?

Может, на радость, а может, назло
здесь родословное древо взросло.

Зря что ль старались, в конце-то концов,
шесть поколений московских купцов?

Здесь я родился и слышать привык
русский язык и немецкий язык.

Что клеветать на свою конуру:
здесь я родился и здесь я умру

Доля кривая, давай, вывози!
Родина, ты в клевете и в грязи.

Господи, дай утешение мне,
в сердце – надежда, но сердце в огне.

Черное масло осенней реки.
... И не найти ни строфы, ни строки.

Вот и подошли мы то ли к перекрестку, то ли к семафору.
Кто предупредил бы, что ли, остерег бы, дал бы, что ли, фору?

Кто бы намекнул бы, поделился мыслью,
мнением хоть каким бы?
Со всего, что свято, время беспощадно посдирало нимбы.

Посдирало шкуру, так что вспоминать ли ордена и даты?
Так что нам ли хныкать, так что нам ли вякать –
сами виноваты.

Ни тебе закуски, ни тебе обслуги. Прочь, свиные хари!
Нет ни человека здесь, в людской пустыне,
здесь, в мирской Сахаре.

Всё, что зеленело, и луга и доли, вытоптали козы.
Ни тебе подхода, ни тебе погоды, ни метампсихозы.

Женщина приходит, женщина уходит – это сколько ж можно?
Сам не молодеешь, оттого, конечно, несколько тревожно.

Заживает рана, да не обольщайся – тонок эпителий.
За чредою пьянок так же неизбежна череда похмелий.

Всюду вой далекий, всюду крик тягучий –
не предсмертный хрип ли?
Укажи, о Боже, как да и во что же мы, выходит, влипли?

Я кидаюсь в полночь, в сырость и в бездарность,
пропаду напрасно
в этой тьме поганой, потерявши голос – но крича всечасно:

Этот мир безумный, мир благословенный,
грязный и постылый,
Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!

* * *

Не понять – не постичь – не сберечь – не увлечь – не помочь.
На задворках Европы стоит азиатская ночь.

Это клен одинокий руками разводит беду,
это лебедь последний крылами колотит по льду.

Это гибнет листва, это ветер над нею поник.
Это в городе ночью звучит неизвестный язык.

Только миг обожди – и застынет река в берегах,
только миг обожди – и по горло потонешь в снегах.

Для кого – для чего – отвернись – притворись – претворись
в холодеющий воздух, стремящийся в гулкую высь.

... Что ж, лети, ибо в мире ноябрь, ибо в мире темно,
ибо в небе последнем последнее гаснет окно,

ибо сраму не имут в своей наготы дерева,
ибо в песне без слов беззаконно плодятся слова.

Плотно уши заткни, сделай вид, что совсем незнаком
с этим странным, шуршащим меж листьев сухих языком.

Он неведом тебе, он скользящ, многорук и безлик –
это осени клик, это пламени длинный язык.

Это пламя голодное желтые гложет листы,
и поручен ему перевод с языка темноты.

* * *

А я ведь не знаю, какое сегодня число,
куда меня ветром времен и за что занесло.

А я ведь не знаю, кто бог на сегодня, кто черт –
желания нет забираться в подобный кроссворд.

Мне только всего-то узнать бы, что цел кошелек,
что в чьем-то окне чуть заметный горит фитилек.

Что люди опять помаленьку твердят о душе,
хотя в телевизор глядят («Пуркуа ву туше?»*)

А я их люблю, с их нескладным житьем да бытьем,
в жилетку поплакать им некому в мире моем.

Я – только звено, только спичка на горьком ветру,
пока не велят – поживу, ничего, не помру.

Пока не зовут, поучу их неведомо чему,
хоть малую искорку брошу в кромешную тьму.

А справа враги, а и слева, и прямо – враги.
Уж, Господи, хочешь, не хочешь, а мне помощи!

Легка Твоя ноша, и вечна моя похвала –
но, Господи, я ведь не знаю ни дня, ни числа!

* А. Пушкин «Дубровский».

* * *

Эту цепочку ломкою строчкой увековечу –
шило на мыло, мыло на сало, сало на гречу.

Эта цепочка – точно по схеме, точно по слепку –
кошка за жучку, жучка за внучку, дедка за репку.

Кружатся годы – белые враны, черные чайки.
Не ошибиться в качестве шила, в сортности швейки.

Цифры да цифры – как конвоиры с фронта и с тыла.
Шило на мыло, было да сплыло, сердце остыло.

Только бы тихо, только бы глухо, шито да крыто.
Это не ярость, это не злоба. Это защита.

Это защита от снегопада, от перепада.
Чур, не бороться. Если не дали – значит, не надо.

Можно молиться хоть на помойке, хоть на панели,
чтоб ненароком, в самом бы деле, свиньи не съели.

Чтобы, как надо, шелестом сада кончилось лето.
Боже, спасибо. Даже за это, даже за это.

Всё остальное – побоку, на фиг, не было речи.
Снеги да вьюги. Ветер на круги. Вечность, до встречи.

* * *

Природа слагает зеленое знамя ислама
и рушится ливнем багровых осенних отрпеьев.
Комедия кончилась. Видно, готовится драма.
Григорий Отрпеьев, до завтра, Григорий Отрпеьев.

Димитрий, забудь, что по-летнему сердце пригрелось,
холопов зови – посмеемся слетающим флагам.
Кончается лето. Объявлены осень и зрелость.
Последние клены толпятся багровым аншлагом.

Пусть карта небес побелела от звездного крапа –
даст Бог, расхлебаем. Да мало ли в жизни историй!
...Но с хрустом песчаным осенняя сфинксова лапа
сметает меня и тебя, малоумный Григорий.

Листва, отлетай, замечая следы безобразий,
пусть рушатся листья и звезды – пустая утрата.
Эх, так-перетак, бесполезные звезды Евразий,
Григории всякие, чертово племя разврата.

А ждать невтерпеж, так и ждешь, как лежишь на иголках:
багряный покров не растерзан – он ярок, лоскутен.
Пусть осень подходит – распутица, грязь на проселках.
Григорий Распутин, до завтра, Григорий Распутин.

* * *

Снежный ветер ко дню Покрова
рвется мир опоясать,
солнце спит в небесах, как сова,
а точнее – неясить.

А ворона кричит на суку,
что сомненья нелепы,
что прогнать по отчизне тоску
проще пареной репы.

Настроенье дошло до нуля,
а душа – безоружна.
Бесполезно ловить журавля
и, возможно, не нужно.

Эти вечные горе с бедой
и не съем, и не выпью.
Издаലെка ночной козодой
стонет раненой выпью.

Все еще вспоминается зной
и последнее лето.
Но кукушка кричит за спиной:
что бы значило это?..

* * *

Мир, от жаркой тревоги усталый,
расплывается в дымке.
До зимы еще долго, пожалуй,
это только зазимки.

Предсказания дня снегопада
принимать ли на веру?
Вот он, градусник – только не надо
доверять спиртомеру.

Что жалеть-то, что нынче, ей-богу,
не иначе как сдуру,
Фаренгейт для чего-то дорогу
заступил Реомюру.

Солнце, вечный гонец и наместник,
не следит в суматохе,
что там делает каждый ровесник
ледниковой эпохи.

Служит время сомнительной сводней,
водит за нос природу,
обижаться на снег прошлогодний –
что размешивать воду.

Неизбежные боль и прохладца
настигают повсюду.
изо льда бесполезно стараться
изготовить посуду.

Бог горшки не желает муравить,
вот и силимся ныне
след хотя бы какой-то оставить
на твердеющей глине.

И как прежде, фальшивя безбожно,
все твердит окарина,
что увидеть никак невозможно
промелькнувший нейтрино.



* * *

Нынче и завтра не то, что прежде и раньше.
Слушай, Ирландия, плачет последняя баньши.

Слушай, Ирландия, в Андах, слушай в Карпатах,
Нет на сегодня ни правых, ни виноватых.

Женщина-призрак заходится в смертном плаче,
уши ее закрыты, очи незрячи.

В кобальт и в кадмий выкрасив старые тряпки,
мечется ужас, черную немочь держит в охапке.

То ли свобода, то ли, скорее, море соблазна.
Город в потемках зачеркнут крестообразно.

Быть бы сейчас поспокойней, быть бы достойней.
Что начиналось шуткой – кончилось бойней.

Кончился праздник, начатый разудало.
Женщина-призрак свое давно отрыдала.

Жалкая участь и тягостная планида.
Шма, Украина, ты тонешь, как Атлантида.

* * *

Не стоит сердиться, доверившись картам гадальным.
Печальные новости множатся в мире печальном.

Опять на болотах Эстонии грустно и сыро,
опять в Трансильвании нет ни кола, ни вампира.

Опять не добыть ни лосося, ни гуся, ни лося,
опять налетают торнадо, страну пылесоса.

Опять недовольны боярами злые холопы.
Опять император катается в желтом салопе.

Испанский король из покоев коварно похищен,
теперь он – российский Аксентий Иваныч Поприщин.

Молчи уж про это, не то всю семью опозоришь.
Растет энтропия, и с этим никак не поспоришь.

Затем, что того, кто забудет об этом законе,
уносят в безумие чертовы русские кони.

* * *

Над всей Испанией ночь и туман.
Вконец одурел европейский шалман:
дорогой читатель, поверить изволь,
что в России живет испанский король –
плачет, тоскует, не пьет, не ест,
хочет в родной Мадридский уезд.
Ему Россия не дорога –
не дороже испанского сапога!
Он за нее не отдаст живот!

В соседней палате Евклид живет.
Евклид, конечно, не виноват,
что кончаются лампочки по сто ватт,
но совершенно не прав Евклид,
что сходиться линиям не велит.

А король твердит, что так мол и так,
я на треть казах, на две трети казак,
опять же – еврей на четвертую треть,
а пятая треть засекречена впредь.
Ну, а если бы треть шестая была,
совсем другие пошли б дела,
не пустая была бы отнюдь болтовня,
что в палате находится два меня!

К нам интерес проявляет шалман.
Разобрался? Шире держи карман!
В кармане дыра, только штопать на кой?
Сквозь нее до сердца подать рукой.

Легко ли бедной понять голове,
что сидит испанский король на Москве,
но раз уж сидит – то, значит, не зря.
Вот и утро. Слава Богу, заря.

Крик под окном: даем и берем!
Век начинается мартобрем.
Приготовиться: кажется, наш забег!
Интересный, видимо, будет век.



* * *

Мой друг, не жалуйся, не сетуй,
а присмотришь-ка к жизни этой,
гляди – в округе
коллекция зловещих тварей,
лепидоптерий, бестиарий,
мир Калиюги.

Здесь, что в Багдаде, что в Дамаске,
уж как-то слишком не до сказки
разумной, вечной.
Здесь лишь войной полны театры,
змея – не символ Клеопатры,
а знак аптечный.

Здесь, раздвигая мрак великий,
сквозят чудовищные лики,
вся нечисть в сборе.
Сочится серою планета,
здесь не Россия и не Лета,
здесь – лепрозорий.

Здесь нет для гордости предмета,
здесь ни вопроса, ни ответа,
ни свеч, ни воска.
Одни отчаянье со злобой.
Не пасовать – поди попробуй,
раз карта – фоска.

Уж как ты спину ни натрудишь –
терпи, казак, никем не будешь,
мест не осталось.
Коль можешь – верой двигай гору,
и ежели судьба не впору –
что ж, бей на жалость.

А перемирье – вещь благая,
ушла война – придет другая,
мы тленны, бренны.
Бывает в Пасху панихида,
и даже «Красный Щит Давида» –
предмет военный.

А если мир – подобье Бога?
Не жаль тогда ни слов, ни слога,
но будем прямы:
быть может, разница ничтожна,
но мир, в котором всё возможно –
сон Гаутамы.

Что ж, сон как сон – так пусть продлится,
здесь никакой причины злиться:
вот, скажем, атом,
а вот другой – они не схожи,
так нечего пенять на рожи
российским матом.

Спит мотылек – чего уж проще?
Он видит сон – китайца в роще.
Будить не смейте!
И знайте: право есть у Бога –
взяв человека – хоть немного
сыграть на флейте.

Мелодию, что Он играет,
никто из нас не выбирает
да и не слышит.
Но Божий Дух – во сне и в яви,
где хочет – уж в таком он праве –
живет и дышит.

* * *

Жертвенный знак треугольной звезды,
свет благотворный.
Поздний закат и скамья у воды
темной, озерной.

Символы я до конца не пойму,
данные свыше.
Всё, что вовек не скажу никому,
Боже, услыши.

Дай лишь возвышенный миг тишины,
внемлющий Боже,
песне, которой слова не нужны,
музыка – тоже.

Долгие годы и тяжкие дни
кратко исчисли,
ну, а потом хоть на миг загляни
в душу и в мысли.

Видишь, не ведает строчек и нот
сердце-бедняга
и действительно в бездну зовет
темная влага.

Детской руке удержать не дано
ворот колодца.
Все остается, что пало на дно,
все остается.

* * *

То ли вздремнуть еще, то ли пора
глянуть, взошла ли звезда?
Ночь отлетает, как дым от костра,
кто ее знает – куда.

Знать бы теперь, высока ли цена,
где ты, флейтист-крысолов?..
Городу Гамельну очень нужна
старая песня без слов.

Время прощения давних обид,
время прощанья в ночи.
Молча смотри на поток Персеид,
и ничего не шепчи.

Веки прищурь и проверь глазомер,
и тишиной опьяней:
помни, услышится музыка сфер,
если ты помнишь о ней.

Завтра все то же, что было вчера,
жизнь избегает длиннот,
только звучат из колодца двора
семь удивительных нот.

* * *

Не нужен песок, ни к чему перегной,
природа тупа и упряма.
Ты глиной остался, наследник одной-
единственной мысли Хайяма.

Взрываются недра, а следом – ку-ку! –
лежи в вулканическом туфе.
Зачем-то придумал дурную строку
похмельем измученный суфий.

В бесплодных попытках записывать сны
едва ли свой ум обезвредишь –
наелся, похоже, травы-белены,
и круглыми сутками бредишь.

Опять, во всемирной беззвездной ночи,
зачем тебе эта морока?
Намного спокойней, кричи не кричи,
не ждать некоторого срока.

Верховные силы отрубят реле,
есть радость в великом покое:
ведь глина не знает, что есть на земле
какое-то племя людское.

Всем свянувшим розам и всем соловьям
утопнуть бы лучше в болоте,
узнав со стыдом, что великий Хайям,
позорно ошибся в расчете.

Велик человек и его существо!
Но все-то природе едино,
и в плане творенья, скорее всего,
останется глиною глина.

* * *

Тот, чье вечное место за правым плечом,
кто сияет полдненным лучом,
тот, запомни, всегда пребывает с тобой,
озабочен твоею судьбой.

От того же, чье место за левым плечом
кто внушает, что он не при чем,
от того зачурайся ночью порой,
чугунок поплотнее накрой.

Перед свиньями бисер отнюдь не мечи.
не клади возле ложки ключи.
В новый дом петуха непременно купи,
головою на запад не спи.

Не отведавши кашу, хвалить погоди
и подушку на стол не клади,
и не дай наклониться горячей свече,
и не думай о левом плече.

Всё дурное, что скоплено, бросить изволь
в новолуние в красную соль;
перед тем, как проститься, постой у двери,
как молитву, затем повтори:

«Я с пути не вернусь и жука не убью,
опасаясь за душу свою;
на поминках устроюсь поближе к огню
да и белку с дороги сгоню».

Пусть однажды затихнет знакомый мотив,
каркнет ворон, беду возвестив,
но за правое дело за правым плечом
встанет ангел с горящим мечом.

ЗАГОВОР ОТ ОРУЖИЯ

Мать, склонись надо мной, горемыкою,
будь на земле я, в огне иль в воде;
повороти ко мне милость великую,
как сковородник ко сковороде.

Дай избежать положения рабского,
пенья стрелы и замаха сплеча;
русского, турецкого или арапского
дай не узнать ни копья ни меча.

Дай избежать мне по воле Всевышнего
сулицы, совни, ножа, топорца,
сабли взнесенной, удара бердышного,
палицы, свайки, чекана, клевца.

Пусть надо мною защита построится,
пусть не стреляют в меня, как в мишень;
силою живоначальныя Троицы
да отвратятся ослоп и кистень.

Мать, пошли мне гонца шестикрылого,
пусть вознесет он молитву сию;
мощь Уриилова и Рафаилова
пусть бережет меня в этом бою.

Без благодати боец не обходится,
горней заботой меня не покинь;
милость свою ниспошли, Богородица,
ныне и присно, веки, аминь.

* * *

Остался чуть заметный след
от шестьдесят восьмого года.
Московский университет,
радиостанция «Свобода».

Еще – «Немецкая волна»,
при ней советская глушилка.
Угрюмо-глупая война
и водки первая бутылка,

Везде маячащий каюк;
три года трудового стажа,
десяток липовых наук,
и остальное – тоже лажа.

От прочих – Господи спаси!
Не живопись – сплошной бульдозер,
с гарниром в виде Би-би-си
и многих «Лебединых озер».

Готовый план по торжествам
аж на трехтысячные годы,
«Свободу – нам, свободу – вам»,
а толку-то от той свободы?

В молчании глухонемом
дрожа над каждой новой датой,
мы жили в шестьдесят восьмом,
не веря в шестьдесят девятый.

Мы знали тьму, мы знали свет,
и знали: тьма и свет – не пара.
Нас отделяло двадцать лет
от окончания кошмара.

Был каждый слеп, как старый крот,
шпаргалкою судьбы считая
тот год, застрявший у ворот
еще враждебного Китая.



* * *

Кого не надо громко славили
то в ярости, то в забытьи,
ни в грош судьбу свою не ставили
в те годы сверстники мои.

Работу факультет налаживал –
сеть все-таки одна и та ж –
и стукачей декан рассказывал
по шесть, по десять на этаж.

Кормили кашей, не навагою,
и, над столовкой воспарив,
из каждого окна «Живагою»
весь день гремел Омар Шариф.

Держало нас терпенье чертово,
но так ли страшен оный черт?
Порою нас везли в Лефортово,
порой везли в аэропорт.

Не подпускал на выстрел пушечный
спецхран загадочный к себе,
шуршал магнитофон катушечный
многоколосием в гербе.

Газетный окрик истерический,
и не заткнешь в бюджете брешь,
и снова пленум исторический,
и снова трудовой рубеж.

Единством скованы и связаны,
под стражей у себя в дому,
мы вечно были всем обязаны,
а кто б тогда не знал – кому?

А он-то, наш, такой хорошенький,
совсем надежд не оправдал.
И мы не ждали ничегошеньки,
помимо тех, кто визу ждал.

Еще в кого-то пальцем тыкала
неотвратимая судьба,
а власть на нас бессильно рыкала,
воруя колоски с герба.



* * *

День миновал, и в шесть часов
опять окончен труд печальный.
Из всех на свете адресов
ты выберешь полуподвальный.

Здесь – ни начала, ни конца,
все и всегда в одной в одной упряжке;
здесь два соленых огурца
и два соседа по оттяжке.

Не понимают ни аза
несмысленные Божьи твари –
печальны пьяные глаза
и перекошенные хари.

И даже день рожденья свой
не каждый помнит завсегдатай,
здесь вечный день сороковой,
лишь иногда здесь день девятый.

Любым телам, любым мозгам
ничто хмеленое не чуждо,
лишь по делам, лишь по деньгам
здесь воздается коемуждо.

Потом и вовсе без причин
уходит все, что есть, за скобки,
чтоб оставалась на помин
лишь корка черная на стопке.

И можно разве что вздохнуть,
уже не думая о датах,
о том, что вот, житейский путь
дошел до девяти десятых.

* * *

Вопросы спрятались в ответах,
эпоха повернулась вспять,
и сделалось на всех брегетях
двадцать четыре тридцать пять.

Как весело, как суматошно,
над нами посмеялся бог:
что было мило – стало тошно
тому, кто совесть не берег.

Кормилец наш и наш надёжа
слинял в гранитную дыру,
не то чтоб сразу все, но всё же
мы наигрались в ту игру.

Был путь определенный верен,
поскольку ярко и красив.
Нам рассказал про это мерин,
который был отменно сив.

Почти не ощущая гнета,
трудился каждый, в меру сыт,
но в воздухе висело что-то,
что там и до сих пор висит.

Грозился нам явить немилость
дамоклов меч, точней, топор –
все, что на голову свалилось,
на ней лежит и до сих пор.

Сидел в чулане воин ярый,
ждал тридцати богатырей,
собаку путали с волчарой,
с кукушками – нетопырей.

От тараканов всемогущих
друзья линяли кто куда,
прообразом судеб грядущих
была ходячая беда.

...Но сказ о давних поединках
убрался с первой полосы,
и отдыхают на поминках
мои песочные часы.

Порвавшись на водоразделе,
сгнила к великой целям гать,
и во спасенье этой цели
не стоит душу полагать.



* * *

Сопрели древние веретья,
ржаные допиты квасы.
Не знают про тысячелетья
твои песочные часы.

Из падалиц не сделать сидра,
не сохранить их про запас,
не скажет ни одна клепсидра,
который год, который час.

Закрыты тяжкие творила,
прокисли зелья по горшкам,
опять судьба перемудрила,
сдавая карты игрокам.

Ее ничем не остановишь,
при этом истина проста,
что снова ты мышей не ловишь
и не купил себе кота.

Все так же перед Божьей карой
не пятится никто пока;
в стране, владеющей Сахарой,
все тот же дефицит песка.

Топор не шибко сладок в супе,
но как же хороша зато
вода, что вытолчена в ступе,
что наполняет решето.

И разум пуст, и сердце ноет,
и поспешаем неспроста
туда, где вечность мало стоит,
а жизнь – так вовсе ни черта.

Надежде

Достойно есть проговорити,
узнать про зло и про добро –
носить пристойно ль воду в сите,
когда в хозяйстве есть ведро?

Давай хотя бы понарошку,
заботам дня дадим отбой,
разломим надвое лепешку
и выйдем на крыльцо с тобой.

.....
Судьбу, на две ноги хромую,
семь горестей не гнут в дугу,
зато заветную восьмую
не пожелаю и врагу.

Куда-то девка память дела,
прельстился девкой рыжий рус,
пусть мастера боится дело,
зато и мастер тоже трус.

Жеребчик старый делом занят,
вовсю старается гнедко,
он борозды не испоганит,
да вот не вспашет глубоко.

Кто пьет водицу из копытец
за то получит поделом:
из лучших лучший домовитец
содеется душным козлом.

.....

Мы приспособивались к роли,
суму знавали и тюрьму,
чему нас не учили в школе,
как не учили ничему.

Не видя зверского оскала,
мы продолжали путь, пока
жизнь протекала, протекала,
как неспешная река.

Лишь от полочки до полочки
мы дням старались счет вести,
и наконец дошли до ручки,
а крыша все еще в пути.



* * *

Я смотрю без раздраженья
На такие вещи.

Леонид Мартынов

Вот опять на свете смута
и опять морока,
не по умыслу чьему-то,
не по воле рока.

Поздно ведовству учиться
и ругаться кисло:
лихо прыгает волчица
через коромысло.

Шестилапая собака
засыпает чутко,
дремлет возле волколака
водяной анчутка.

Обдериха позабавит,
милости сподобит –
баня парит, баня правит,
баня и угробит.

В кузню попусту не лазай,
будь поближе к дому,
мечет пахарь одноглазый
искры на солому.

Крик отчаяния резкий
тронет за живое.
Сердцу страшно в редколеске,
в поле – страшно вдвое.

Там шальная полевица
мечется со смехом,
там не сможет пробудиться
спящий под орехом.

Всю-то ночь бесплодно лупит
ветер по вершинам,
ибо утро не наступит
с криком петушиным.



* * *

Опять разбуженное лихо
себя не может оберечь.
Опять старуха-домовиха
шурша, растапливает печь.

Опять, как новенький полтинник,
сияет холод-чудодей.
Опять домашний дух, овинник,
расчесывает лошадей.

Спешит к погосту тесть умерший,
боясь железа и кола,
и зорко смотрят коловерши,
чтоб не просыпалась зола.

Где отыскать судьбу плачевней
и как ее переиграть,
коль призрак призрака деревни
опять не хочет умирать?

Вершит свои труды исправно
бесцеремонный суховей,
и призрак веры православной
вздымает руки у церквей.

И духи прячутся в запечье,
решив бороться до конца,
храня жилище человечье,
где нет ни одного жильца.

* * *

Устроясь на гнилой соломе,
скулит, о прошлом вспоминая,
та нежить, что живет при доме,
а также нежить остальная.

На смех в углу никто не клюнет,
бояться беса – нет приказа,
никто через плечо не плюнет,
поскольку не боится сглаза.

Венчанки маются безбрачьем,
на то понятная причина –
теперь послать к чертям собачьим
способна даже чертовщина.

Защитник малого народца,
почти прозрачный, осторожный
полночник по селу крадется –
подлестничный, черезпорожный.

На умирающее чудо
леса и реки смотрят вчуже.
Вчера и нынче было худо,
но станет несравненно хуже.

Проснется лихо, грянет в било
и к послушанию принудит.
Где не было того, что было –
того, что будет, там не будет.

* * *

Лежит, разобран по коробьям,
мормонский месячный припас;
когда себя мы не угробим,
переживем и худший час.

Никто не даст побыть в покое,
он с жизнью вряд ли совместим,
мы в ней увидели такое,
что воскресать не захотим.

Живущим на восьмушке мира
лишь патагонец не земляк,
и коммунальная квартира
нас не загонит в переляк.

Едва ли будет малый шорох,
когда за свет придут счета,
иль даже мамонты в Обдорах
вздымут власаты хобота.

В чем радость, если всё погано?
И для чего эквилибрист
стоит в болотах Васюгана,
держа шестиметровый хлыст?

Найдется ли сомненье в мире,
что славный воин – начеку,
что птеродактили Сибири
взлетят по первому щелчку?!

Но точно не заради денег
опять, как в прежние века,
рубль да старый оловеник
лежат на донце сундука.

Не то что выбросить не в силах,
старье и так-то не товар,
а только вот в печных горнилах
еще остался древний жар.

Чтоб не терзаться нам жестоко,
коль, перемучившись сперва,
без электрического тока
работать станут жернова.



* * *

Страшен, однако же с детства знаком
сей развороченный улей,
пахнет святою водой, чесноком
и деревянною пулей.

Из переулка чудовищный лик
кажет чудовищный воин,
выгнуты зубы, змеиный язык
свешен и криво раздвоен.

Спешки ни в чем никогда не любя,
морок тарашится тупо,
слюни глотает – а вдруг у тебя
сладкая первая группа?

Мечется разум, рыдает душа,
сердце витийствует пылко.
Нервы шлифует, и тем хороша
старая эта страшилка.

И не помогут ни молот, ни крест,
тварь побеждает в итоге –
досуха выпьет и дочиста съест
странников темной дороги.

Две джеттатуры топырь не топырь,
не остановишь забаву,
Век двадцать первый – не волк, а упырь,
не по зубам волкодаву.

* * *

Житье полдневное, холопское
пускай останется снаружи.
Мое проклятье ликантропское:
чем полнолуннее, тем хуже.

Не жди внимания особого,
отвергни мелкие изыски.
Голодный волк любое хлёбово
проглотит из собачьей миски.

Опять зима, опять бесснежие,
бежишь, бежишь, теряешь хватку,
поди найди хоть что-то свежее,
поймай хотя бы куропатку.

По оттепели – тропка склизкая,
кусты пусты и чащи тихи,
и думаешь, бесплодно рыская,
лишь о жратве и о волчихе.

Через бугры и через вмятины
с тоской отнюдь не боевою
бегу от духа шакалятины,
бегу, и громче ветра вою.

Но зря трофейщик тут заботится,
порядок освящен веками,
на нас не следует охотиться –
вервольфы брезгают флажками.

Загонщикам не соболезнуя,
живем, как нам велит природа:
идет охота бесполезная
двенадцать раз в течение года.

Судить не стоит одинаково,
что хуже – смерть или увечье,
пусть в этом счастье волколаково,
но в этом горе человечье.

Какая участь волку выдана –
об этом только ветер воеет,
а то, что ночью лунной видано,
при свете вспоминать не стоит.



* * *

Коготь в петлице, полуденный гром,
черные псы-переростки,
темень, что виснет над каждым двором,
кол на пустом перекрестке.

Тень ли рванется в открытую дверь
иль раскрошится просвира –
между собою сравни и промерь
все суеверия мира.

Веруй, что зло побеждают добром,
веруй в любую примету:
в братьев по разуму, в бабу с ведром,
в легшую решкой монету.

Голубь с ладони попросит пшена,
радуга встанет в просторы –
верь, и уверуешь в то, что сильна
вера, что двигает горы.

Слепо в хозяина верует зверь,
силы последние тратит.
В то, что не веришь, хотя бы поверь –
этого, право же, хватит.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА РАССВЕТЕ

Илье Будницкому

Из подполья мышиноного слышится смех:
захребетников этих стыдить – безнадега.
Ну, а вдуматься, выйдет – нисколько не грех
домового считать за домашнего бога.

Если в доме огонь, значит, дома не тронь,
не грози троеперстьем руки беззаконной,
не стучи по столу: это божья ладонь,
распростертая в красном углу под иконой.

Дворовой по двору рассыпает пшено,
до рассвета закваска в квашне задремала,
доможириха тихо прядет полотно
и грустит, что детей у хозяина мало.

За околицей духов – пучок на алтын,
есть и злые и добрые, выбор богатый:
там у бархатной матери бархатный сын,
всякий знает, что оба по жизни ягаты.

Недостойная слава у них искони,
их молва ни за что не оставит в покое:
ведь поклоны кладут, ведь постыятся они,
и за что им во всем обижанье такое?

Повелитель реки, синевато-седой,
до лесного пруда доберется с опушки,
и его переполнит святою водой,
и сегодня ни рыбки не съест, ни лягушки.

Благоденствует край от межи до межи,
только слухи сбивают народ с панталыку,
мол, живут за околицей люди-бомжи
и с кустов, как медведи, едят куманику.

Эти слухи какой распускает злодей?
Чей подобное выдумал разум растленный?
Никаких не бывает на свете людей,
их никто не видал с сотворения вселенной.

Этой байкой нельзя обдурить и ежа,
даже слушать такое всерьез – безрассудство.
Знают малые дети, что вера в бомжа –
злобление, чтоб не сказать – мраколючество.

Так вот, значит, и слушать любое трепло?
Но, сметя паутину словес неуклюжих,
благолепно до вечера дремлет село,
отчуравшись от выдумок бабок досужих.



* * *

Лай собак, долгожданные свадьбы волков,
неудобства волхвам и колдуньям,
кошка с лапою черною без коготков,
но с копытцем зато шиликуньим.

День серьезный, единственный в каждом году,
день, в который не нужен лечебник,
день, когда навести никакую беду
одноглазый не может волшебник.

Что за праздник, о том угадайте на раз,
этих образов блеск фантастичный,
перемешаны живность и нечисть сейчас,
и не очень-то, в общем, отличны.

Ну, от нечисти могут помочь, как всегда,
добрый крест, серебро и железо,
и торжественно ждет ледяная вода
топора и ножа-ледореза.

Ближе к вечеру – весело, грех не во грех,
к юго-западу тянутся злыдни,
бормоча, что управу отыщут на всех
может, лежни, а может быть, сидни.

Наплевать на буран и на выпавший снег,
нынче мир пребывает в ударе,
он пока под шумок отверзает ковчег,
чтобы взять каждой твари по паре.

* * *

Осколки зеркала, тринадцать за столом,
орел над головой – предвестник скорби многой,
просыпанная соль, пасюк под помелом,
башмак не с той ноги и дождь перед дорогой.

Черника – точный знак, что счастья нет зимой,
хлеб перевернутый, рассыпанные крошки,
улыбка в зеркало, корабль вперед кормой,
пучок разрыв-травы и хвост паленой кошки.

Колода через пень, лапша поверх ушей,
Москва непьющая, из рыбьей кожи шуба,
удача, от дверей гонимая взашей,
нетрезвый дед в пальто, который рухнул с дуба.

Недопитый стакан, дареный зуб коня,
попятившийся волк – виденье скорой ссоры,
невидимая тень от старого плетня,
засов, отломанный от ящика Пандоры.

Смоковница, чей плод иссох, да и прогорк,
осадок на душе, оставшийся от драки,
«Титаник», все-таки добравшийся в Нью-Йорк.
...Какой-то Одиссей, какие-то феаки.

* * *

В лесу с темна и до темна
старинный ужас душу гложет,
трудолюбивая желна
стучит и перестать не может.

Не умолкает этот стук,
безжалостен хохлатый дятел,
он перепуганных пичуг
изгнал и переколошматил.

Во долголетию стучащ
маэстро одиночных дупел,
насельник самых темных чащ,
сулящий всем смолу и жупел.

Плевал на холод и на снег
пернатый клювоносный ратник,
старательный стукостратег,
среди стукачей первостучатник.

Кто завывает, кто мычит,
рычит, мяучит, лает кто-то –
а он стучит, стучит, стучит,
такая у него работа.

Бессмысленно ползут века,
не прекращаются мученья,
в том утешенье дурака,
что повторенье – мать ученья.

Пусть, опоясывая лес,
на бабах жуткий ров прооран,
не засыпает мелкий бес,
начальник дятла – черный ворон.

* * *

Лабаза смрадного привратник,
блюдущий мелочное зло
книгоиздатель-медвежатник,
барыга, мусор и мурло.

Он наплевал на пересуды,
хотя, опережая спрос,
до штатной должности иуды
он чином так и не дорос.

Считая совесть за лукавство,
притягивая шкурой грязь,
печатно взращивал мерзавство,
мерзавством собственным гордясь.

Ко взяткам подходя научно,
гнал конкурентов от корыт,
и подчиненных ел *постучно*,
при этом не бывая сыт.

Не уповающий на чудо,
он получал от торгашей
то тридцать золотых эскудо,
то тридцать ломаных грошей.

Играла жизнь в одни ворота,
не столь слепа, насколько глупа,
ползла судьба через болота
ползла, куда вела тропа.

Среди издательского смрада
уместна склонность к воровству,
недораздавленного гада
по имени не назову.

Здесь даже вывод неуместен,
хотя давить не сладко вшу –
пусть ты останешься известен
лишь тем, что я сейчас пишу.



* * *

Сюжет, возможно, и неглуп,
да больно уж избита тема –
Валигора и Вырвидуб,
старославянская богема.

Потомок, как солдат на вошь,
глядит с ухмылкой нездоровой
на предков – разве разберешь,
кто дворянин, а кто дворовый?

Кому смешно, кому грешно,
упрячь-ка ты оскал шакалий,
купаться в ночь запрещено
на Троицу в часы русалий.

И сердце мечется в груди,
и места нет увещеванью,
а в озере пойми поди,
с кем предаешься плещеванью.

Одни и те же имена
почти что всем даны, понеже
такая ночь вельми темна,
перевирать бы их пореже.

Срамные речи затвори.
Пусть будут тише и покорней
рабы царей, рабы-цари,
все сборище дворовой дворни.

О генах, мчащих сквозь века,
по принципу – как фишка ляжет,
расскажет только ДНК,
да и она всего не скажет.

Что накопил, то накопил,
чего ты лыбишься, подлиза?
Где родословную купил?
Какая, к черту, экспертиза?



* * *

Зачем на востоке звучит канонада,
и запад зачем погрузился во тьму?
Подумаем: что человечеству надо,
и надо ли в жизни хоть что-то ему?

Похоже, имеем избыток примеров,
так выставим первый сомнительный лот:
народу египтян, народу шумеров
не нужен папирус суданских болот.

От бедности прежней отлично удрапав,
жирком оплывает любая страна,
поэтому, скажем, народу арапов
тушенка свиная едва ли нужна.

Бывает, потребностям ставится ширма,
скромнеет народ, что по полной огреб:
поэтому в Мьянме, которая Бирма,
не строят пока ни один небоскреб.

Когда у секвойи четыре обхвата,
ни в чем у нее не бывает нужды,
и только в России снегов маловато,
и мало у Мальты соленой воды.

Устроить войну за березовый лапоть,
портянки чужой домогаться вотще,
короче, стараться не глядя захватить
что плохо лежит, что лежит вообще.

А то, что у битвы исход фиолетов,
не горе совсем и отнюдь не беда,
да лучше нигде не давал бы советов
никто никому, ни за что, никогда.

Все движется мирно: в лесу ли, в палате ль
спокойствует тело и дремлет душа,
но тикает рядом немолчный взрыватель,
последний намаз посекундно верша.



* * *

Шито-крыто. Ночь-ворона.
Спит дебелия Верона.

Аркадий Штейнберг

Хоть не выдумана обида,
пусть души не щемят заботы,
для того итальянец Гвидо
европейские создал ноты.

Свет над миром тем долгожданней,
чем стремительней миг заката:
через десять веков страданий
плещет голос магнификата.

Заслоняйся рукой от солнца,
не страдай от ненужной рези
в той Вероне, где два веронца,
в той Вероне, где Веронезе.

Там никто не творит кумира,
ибо всё навсегда уснуло
в той Вероне, где нет Шекспира,
в той Вероне, где нет Катулла.

Вечным теням земля родная,
своему лишь верна закону,
спит Верона, не вспоминая
историческую Верону.

Не ищи ты здесь благодати,
неуместен здесь посторонний –
что Верона тебе и, кстати,
сам ты кто и зачем Вероне?..

Никого ничто не колышет,
жизнь мучительна, словно веред.
Что Верона бессмертьем дышит –
всё равно никто не поверит.



* * *

Кто знал азарт – тот помнит годы ранние!
В столетьях слухи никуда не делись,
что в карты проиграл все состояние
любимый мой святой – Камилл де Леллис.

На вражьи напорившийся картечины,
военные амбиции отринув,
порядочно в сраженьях изувеченный,
он воздвигал обитель капуцинов.

Его, к болезням с юности привычного,
назначили в больнице санитаром,
но, преисполнясь ужаса больничного,
он требовал, чтоб всех лечили даром.

Как лошадей, работников не взвешивал,
напротив, был надеждой и защитой,
всегда за безнадежными ухаживал
и брезговал бумажной волокитой.

Поддерживая хворых в равновесии,
он тратил жизнь, благой и просветленный:
к чему ему, святому по профессии,
на перекрестках отбивать поклоны?..

Призвав к себе неравнодушных зрителей,
чей подвиг был воистину рекорден,
он основал четырнадцать обителей –
до наших дней еще доживший орден.

Храни меня, водитель Божьих пахарей,
во днях пожаром осени спаленных,
Камилл де Леллис, покровитель знахарей,
святой больных, заступник исцеленных.

Дыханье ветра и хлада.
Значит, настал Самайн.
Древняя Дал Риادا,
полная снов и тайн.
Трепетные мгновенья,
запад почти свинцов.
Праздник поминовенья,
день живых мертвецов.

Стелются струйки дыма
вдоль смоляной реки,
легко и почти незримо
близятся ледники.
Легла на скалы завеса,
все до утра мертво,
во глубине Лох-Несса
нет совсем никого.

Тягостная погода,
не выходи из жилья.
Будет не слышно полгода
Сахарного ручья.
Самайн пришел на поминки,
только и может увлечь
долгая песнь волынки,
плавная кельтская речь.

Скоро всему разгадка,
обожди лишь несколько дней.
Слышишь, спешит лошадка,
всадник сидит на ней.
Пони большеголовый,
время мчит налегке –
только и виден лиловый
вереск в его руке.

Не вороши обиды,
сами уйдут пускай.
Внутренние Гебриды,
остров туманный, Скай.
Дымный ячменный солод,
долгий глоток и вздох,
неотступающий холод,
вереск, чертополох.

Башенки Данвегана,
на печати – бычьи рога;
шорохи океана,
скальные берега.
Пресеки недоверье,
строга печаль отмерь,
переходя в задверье
через простую дверь.

Повремени немного,
не торопись, о нет –
контур единорога,
клад золотых монет.
Долгих столетий слуги,
малые островки,
дремлют где-то на юге
каменные старики.

Здесь не меняются роли.
Промельки облаков.
Камень, стоящий в поле,
спит пятнадцать веков.
Долгая песня вдовья.
В камне и на воде
осень средневековья
здесь, и больше нигде.

* * *

Блекнет и догорает
закат на грани ночной.
У переправы играет
келпи, конь водяной.
Влага до пены взбита.
слезы в глазах стоят,
бешеные копыта
обращены назад.

Думай не про копытца,
а присмотришь пока –
мокрый конь превратится
в юношу или быка.
Ржет он, мечется шало:
но не увидишь дня,
если факела или кинжала
не сможешь бросить в коня.

Утро наступит хмуро,
спрячется в тень беда,
но маячит та же фигура
там, где журчит вода,
там, где темнеет заводь
и что-то тянет ко дну,
туда, где привычно плавать
синему табуну.

Все же окончить надо
этот немой разговор.
В сердце тлеет досада,
так подними же взор –
за каледонской чашей
ты разглядишь вдали
смутный, но настоящий
западный край земли.

ЭЛЕГИЯ ДЛЯ ЧАРЛИ

Это лилия, вереск, иной ли цветок,
это клеймор, палаш ли, кончар ли?
Ты глаза подними и взгляни на восток:
это парус красавчика Чарли.

Скоро утро, уже посветлела земля
и столетья близка середина, –
скоро должен признать своего короля
славный город, столица Эдина.

Но печально, что к всплеску неожиданных знамен
недостаточно в людях респекта:
может быть, и король для Шотландии он,
но для Англии – некое некто.

Как точило, мечу не послужит брильянт, –
кости брось на невидимый столик:
то ли будет на троне сидеть протестант,
то ли будет – простите – католик.

Помутился, вскипел государственный пруд,
никому никакого улова,
ибо кланы шотландские с севера прут,
по-английски не зная ни слова.

Войско движется, и от темна до темна
слышен звон топоров и оскордцев.
Хорошо только то, что не хочет страна
признавать этих чертовых горцев.

И в истерике в Лондоне каждый урод,
гордость мигом со всех посшибало;
паникеры кричат: «Ганнибал у ворот» –
хоть и нет у ворот Ганнибала.

Но порядка не стало в шотландском доме,
всенародный подъем на ущербе.
Чарли Стюарт – не понял никто, почему, –
не пошел дальше города Дерби.

Бонни Чарли, ты кончил войну – и хорош;
сколько стоишь – за столько и продан,
и теперь ты, дружок, пропадешь ни за грош,
все погубит проклятый Куллоден.

Дотанцован, увы, марлезонский балет,
провалилось восстание в нети;
неудачный король превратился в сюжет,
но – в сюжетец на много столетий.

Что останется – думать и то мудрено,
но сказание стоит порфиры,
если правнукам будет услышать дано
откровение каменной лиры.

* * *

Кинематограф. Три скамейки...
Осип Мандельштам

Здесь славно, здесь курортный рай,
нет места для экспериментов,
страна почти что юденфрай,
хотя и не на сто процентов.

Старинный Юрьев бравый эст
засланцевал, закохтляярвил,
сожрал страну в один присест
очкарик из вселенной Марвел.

Здесь гнусно думаешь порой –
всех победим и всех уроем.
Бессмертный борется герой
с неубиваемым героем.

Но грозно надпись Абырвалг
глядит на этот край с востока,
чудовищный зеленый Халк
чудовищное щурит око.

...Чуждаясь неприятных тем,
не внемля старому названью,
старинный Вышгород меж тем
царит над древней Кольванью.

Он жил, качаясь вверх и вниз,
не знал ни счастья, ни печали,
он вечно шел на компромисс,
чтоб не пойти гораздо дале.

Он был в Европе не один,
ни для кого теперь не тайна –
Одесса, Вена и Берлин
добились следом юденрайна.

Ну, дорогие, где тут плен?
Что ж, мы дорог не выбираем,
опять гремит «Лили Марлен»
над Вышгородским юденфраем.

Былое, лучше скройся с глаз,
и постарайся – не воскресни!
Увы, история сейчас
такие же играет песни.



* * *

Two Dublin Tickets? Стало быть, сюда.
Тупик. Дорога чересчур простая.
Всё – навсегда – уходит без следа,
отгромычала рота золотая.

Вражды ничуть не чувствуя к врагу
и братских чувств не ощущая к брату,
торжественно сидит на берегу
Иван, родства не помнящий по штату.

Полощет ноги в теплом озерце,
задрав в зенит жиреющий затылок,
и ласково меняется в лице,
поглаживая горлышки бутылок.

Он тут живет. Он двигаться устал.
Он впал в усладу наращенья плоти.
Он хочет стать – да он уже и стал
кикиморой на собственном болоте.

Молиться, что ли, материться?.. Но
куда отрадней – просто междометья.
Ужель цвести хоть чем-то суждено
загаженной обочине столетья?

Он – гений места, хоть сюда не зван,
не вздумайте давать ему советы,
пусть через век-другой допьет Иван
зеленое вино иссохшей Леты.

* * *

Воронинские давние блины,
возможность запросто пожрать в трактире,
как были всем отрадны и нужны
харчевни и Симбирска, и Сибири!

Была отнюдь не дурую губа,
но в памяти мешались неуклюже
Мартьяныч, Тестов, Палкин и Кюба,
и даже то, что в десять раз похуже.

Допотрошив дорожный погребец
и вроде бы совсем без опохмелки,
ухи стерляжьей требовал купец
и сразу – ел, и сразу – две тарелки.

Так был колодец памяти глубок,
что разум шел легко на подтасовку –
бараний, а не то белужий бок
плыл через вечность прямо в Комаровку.

И фейерверк палитры вкусовой
казался вовсе не таким уж странным,
и снился белоснежный половой,
и поросенок был с маседуаном.

И возникали в недрах темноты
колокола, катанья или скачки,
и все сильнее делались мечты
о масленице и пасхальной жрачке!

...Пора бы уж понять за столько лет,
сколь ни старайся, нос до неба вздернув,
что жернов крутится, – а что бы нет? –
да только чем назад раскрутишь жернов?

И, как ни жаль, минувшее мертво,
об этом ли мечтали эмигранты?
Куранты не играют ничего,
и то уж хорошо, что бьют куранты.



* * *

Туя, туя, сказочная туя,
нежно потянись и не бунтуй,
наклонись ко мне для поцелуя
и не пой ненужных аллилуй.

Несравненный запах сандарака
сладок и, пожалуй, неспроста
с запахом цейлонского арака
рифма драгоценная слита.

Ты растешь, растешь самозабвенно,
никуда на свете не спеша,
и не хуже черного эбена
тонет древесина ардыша.

На китайца, но и на араба
льется счастье в тридцать три струи,
потому как из арчи и граба
делаются лучшие кии.

Радость льется паки, паки, паки,
и не надо киснуть со стыда,
что с другой звездой в полном мраке
не желает говорить звезда.

Тут нельзя писать презренной прозой,
скудны и стыдливы письма, и
и о том, что сказано под розой,
только туя ведаёт одна.

* * *

Хурма, хурма! С тобой иду на штурм!
В восторге кий ломаю об колено –
среди самых лучших, самых прочных хурм
нет дерева прекраснее эбена!

Вниманье предков этот куст привлек,
прекрасно в этом разбирались предки,
и кто ж не знает – лучший королек
произрастает на эбенной ветке.

О сём поют трембита и зурна,
и как сказать, не выражаясь грубо,
что древесина хурм, хотя черна,
в два раза тверже и надежней дуба!

Эбен юнцам рассудок багрянит,
вгоняет дев в румянец кармазина,
перед эбеном жалкий эбонит
как перед ним – убогая резина.

В эбене драгоценен темный цвет,
в нем трепеты судьбы и жизни новой;
мы помним: сей волшебный умклайдет
для нас предмет желанный и хурмовый.

Пусть он плодит брожение в умах,
задрыхших на печи и на татами,
мы твердо помним – истина в хурмах,
и лучше уж не мериться хурмами.

* * *

Друзья, не зашибить ли нам дрозда?
Гамыры хряпнуть, съесть гостинец адский?
Накваситься, не ведая стыда?
Принять на грудь товар безумнорядский?

А может – лучше скушать сильвупле?
Иль засосать любимое лечило?
Урезав муху, быть навеселе,
добавив «чем тебя я огорчила»?

Не помирать же, упаси Господь,
но похмелиться, меру соблюдая –
отрадней ли медведя побороть
или степенно слопать сиволдая?

Дерябнуть, затушить огонь в груди,
а если нет, то предложить изволю
под вежливое «в школу не ходи»
четырнадцатиклассную франзолу.

Залить за галстук и за воротник,
потом к матрасу до утра причалить
и драгоценный малый золотник
с умением крутым уфестивалить.

Неплохо также крепко дринкануть,
нарезаться, уважить тунеядца,
шарахнуть, жахнуть, выкушать, кирнуть,
взгрустнуть, поддать, бухнуть, наотмечаться.

Заправиться, коль скоро стол накрыт,
принять на борт, малек побыть в законе –
и можно даже полететь с копыт,
и все-таки потом не двинуть кони.

* * *

Идут года под колокольный звон,
к строке строка торопится бессонно, –
тот, кто воспел однажды выпивон,
обязан спеть во славу закусона.

Захочешь длинный список огласить,
но здесь, увы, ужасный факт затронем:
пить – это просто, а вот закусить –
тут не годится ни один синоним.

Допустим, пожелаешь балычка,
но нет его поблизости нередко,
нет даже ни селедки, ни лучка,
а на троих – всего одна конфетка.

Уж тут – хотя бы заморить червя,
чесночным духом снять похмелье злое,
глотнуть кваску, душою не кривя,
прибить сивуху, пожевав алоэ.

Откушать фунт икры в один присест,
а нет ее, так подойдет и шпрота,
покуда Арчибальдыч грабит съезд
и сервирует стол для Бегемота.

Присутствующим предложить уцечь,
что градус убивать закуской глупо;
иль сделать вид, что позабыл заесть,
или занюхать рукавом тулупа.

Насочинять пришлось бы толстый том,
для всех, читать умеющих по-русски,
пить – это просто, но искусство в том,
чтоб обходиться вовсе без закуски.

* * *

Что для печали – то и для веселья!
Понятно, что меж ними связь прямая:
вы, праздники народного похмелья –
восемье ноября, второе мая.

День пробуждения с жаждой нездоровой,
день сковородки жареной картошки,
и огурца, и стопки стограммовой,
и скорого визита неотложки.

Ну, хоть одно бы кто замолвил слово
за этот праздник, право – что такое?!
...День тошноты и яростного блёва,
день крика и приемного покоя.

Лежи, дурак, не нарушая правил,
припоминай вчерашние события.
Царь Петр для нас инструкцию составил –
спускать пары посредством мордобитья.

Но эта мысль, о дорогие други,
прискорбного итога не отсрочит,
печально то, что драться с похмелюги
никто не может, даже если хочет.

Не пыжься, ты беде не дашь отпора!
Перетерпи глухое лихолетье
и в сказку верь, что будут очень скоро
блаженные девятое и третье.

Даниэлю Клугеру

С пергамента, велени и верже
сей несомненный факт неотскребаем:
еврейский род поручика Киже
был родственник раввинам и габаям.

А данк, а гройсен данк, нито фар вос!
Всегда проверить можно, шуток кроме:
Киже – портной, меняла, водовоз –
желанным гостем был в еврейском доме.

Сей факт бесспорен, ибо нарочит,
никто с ним и не спорит, иль не видишь?
Скажи, не по-еврейски ли звучит
фамилия Киже – ци редт ир идиш?

Любой Киже был набожный еврей,
жил честно, яму никому не вырыв, –
неважно, кто – из бедных шинкарей,
из шойхетов и даже ювелиров.

История о многом ни гу-гу,
но, чтобы не искать примеров ближе,
Киже на север шли через пургу,
чтоб там поставить поселенье Кижки.

Всех называть, так не видать конца!
Делами не запятнаны дурными
Киже из Витебска и Егупца,
цирюльники Киже и иже с ними.

Сколь многое известно нам одним!
Секретами века не оскудели:
Моше Рабейну – это псевдоним,
и угадайте – как на самом деле.

* * *

...К подбору иностранной лениньяны...

Борис Пастернак

Как жили странно мы и как сторожко,
боясь себя, а даже не соседа.
Редактор говорил, что Ленин – ложка,
и хороша для каждого обеда.

Китайцы, и семиты, и славяне
на этом съели верную собаку,
копаться приходилось в лениньяне
и мне среди других, и Пастернаку.

Но душу ко всему не приневолишь,
и жалоб нет на то, чтоб каждый годик
не сочинять свое, а так, всего лишь
чужое выбирать из периодик.

Какому было тут молиться богу?
Карт половина, и украден джокер,
а невод пуст, однако на подмогу
являлся графоман из «Дейли Уокер».

Он не давал нам угодить в геенну,
спасибо Таиланду и Цейлону,
спасибо и Неруде, и Гильену,
Луи спасибо, то есть Арагону!

В газетах пролагая путь кремнистый,
читали мы с трудом одни названья,
дарили нам дурные куплетисты
такой вот странный способ выживанья.

Нет ничего из бедного улова –
горит огонь, смола вскипает в чане...
Что вспоминать про песню и про слово,
коль тут сплошное «далее – молчанье».



* * *

Заслыша плеск реки студеной недалече,
на карте близ нее каракуль накарябав,
вошел в историю Руси и русской речи
боярский сын Иван Иванович Похабов.

Царю Тишайшему в столь непростую пору,
грозившую войной или другой бедою,
он реку даровал, а купно с ней и гору,
и та река звалась не как-то, а Кудюю.

При ней – была гора, теперь и думать дико,
что пряталась она от человеческих взоров!
От века к той горе грядет любой кудыка,
чтоб там наворовать корзину помидоров.

Над этою горой не можно стать владыкой,
она – превыше всех, одних небес пониже,
мы помним сызмальства, что сколько ни кудыкай,
к Кудыкиной горе на шаг не станешь ближе.

Окончен древний спор, подведены итоги:
условлено ее считать священным местом,
и высится в веках в конце любой дороги
Кудыкина гора российским Эверестом.

Василию Щепетневу

Как хорошо на день-другой
в легенду броситься с разбегу,
в ту, где удавленник-стригой
манит разборчивую стрегу.

Там на короткие часы
немного задержаться надо:
вкусить кровавой колбасы
на фабрике владыки Влада.

Коль скоро жизнь пошла на спад,
сходить приятно, право слово,
туда, где посреди Карпат
цела могила Крысолова.

А дальше новый путь держи,
спустись во погреб господарев,
там, превращаясь в купажи,
покипывает масса варев.

Сгубил Аврелиана рок,
так пусть не сетует преемник,
что даки запасают впрок
Сатурну посвященный шлемник.

Но ничего не отыграть
тому, кто счастья хочет даром,
поскольку должен выбирать
меж Дракулой и Люцифаром.

А так ли тяжек сей ярем,
как скажет каждый иноверец –
об этом знает только Брэм,
который Стокер, ясен перец.



Николаю Моршону

На доске расставляем фигуры. И так –
грянул гром в кипарисовой роще.
Генерал Кактотак навидался атак,
отдавая приказы попроще.

Отчего б не предаться великим мечтам?
Мы пустыни пройдем и болота,
не жалея снарядов, займем Чтототам,
говорил генерал ван дер Ктото.

Не приличен мужчине постыдный покой,
а война – это все же наука,
и поэтому надобно взять Анакой –
говорил адмирал Якасука.

Выл любой чинодрал, объявляя аврал.
наступала великая дата,
удирал адмирал, генерал удирал,
умирать отправляя солдата.

Но, скитаясь по разным местам и скитам,
головую стуча о ворота,
уходил от погонь, пропадал Гдетотам,
еретик Оборжал Якогото.

Относительно тихо на свете сейчас,
но, однако, на этой неделе,
мы боимся, к ответу потребуют нас
эти славные Осточертелли.

Но и этот исход недостаточно крут,
соберутся и тонкий, и тощий,
и потянутся к нам, и кураж наберут
пресловутые Бутти Попрощи.



* * *

Я император, и я хочу клёчки.

Фердинанд I,

австрийский император

Объят тревогой гарнизон,
майор ругается по-скотски.
Уж там сезон иль не сезон,
но император хочет клёчки.

Пусть он дурак и шалолай,
и скряга, и занудный шкурник,
но хоть «Титаник» утопай,
а император хочет курник.

Зачем затеян весь базар,
зачем выкатывают пушку?
Хоть наводнение, хоть пожар –
но император хочет плюшку.

Любой заказанный обед
сготовишь и доставишь на дом –
хоть в пекло батьки поперед
и на ежа – хоть голым задом!

Что драгоценнее понтов?
Несложна роль официанта,
так будь готов, всегда готов
ко ублажению гаранта.

Тут отдохнуть бы, но шалишь! –
про солнце помни и про пятна,
владыка хочет рыбу фиш!
(Хоть это, наконец, понятно).

Давно пора кончаться дню,
пора бы водку пить изюмну,
но главный требует меню,
а шире головы не думну.

О, этот труд всегда непрост!
Смиримся с участью верблюжьей,
когда не помнишь, завтра – пост?
А может – что намного хуже?



* * *

Страшной парабеллума, круче нагана
змея Гарафена и птица Гагана.

Но где уваженья теперь хоть частица,
иль птица такая – уже и не птица?

Невместно зачитывать долги рацеи
про то, что летать не обучены змеи.

Что пользы в склоненье, что пользы в спряганье,
терпеть ли подобное птице Гагане!

И нужно ль с народами ботать по фене
владычице мира, змее Гарафене!

...Заточены в лучшем березовом дегте
железные клювы и медные когти.

Чешуйки блестят и начищены перья,
греми, артиллерья, лети, кавалерья!

Сражения требует страсть боевая,
сундук обокрасть никому не давая.

Да только пришел сюда некий привратарь
и стырил таинственный камень-алатырь.

* * *

Много ли стоят на рынке чудес
мощные зубы уральского страуса,
куль антарктической груши дюшес,
клятва хохла и мешок Санта-Клауса;

зверь жеводанский и трезвый капрал,
крупные деньги, невинность невесты,
маклер, что отроду взяток не брал,
три экипажа «Марии Целесты»;

прибранный с вечера полный бардак,
дырка от бублика, ум остолопа,
Ктулху, русал, неразменный пятак,
мастер-баклушник, страна Хронотопа,

выигрыш покерный в клубе ночном,
девочка, ухо отгрызшая волку,
семь Белоснежек, единственный гном,
подлинник древнего «Слова о полку»,

дивная мудрость ни в чем не хитрить,
свежая личная подпись Шекспира,
тысяча способов бросить курить,
пара билетов до Плоского мира;

дед пятилетний, живая вода,
радость похмельным вставать спозаранку,
рыбка, что пулей летит из пруда,
мир благоденствия, мир наизнанку!

Также и комплекс народной вины,
козлик безрогий и ослик рогатый,
вся лотерея волшебной страны,
всё, чем сегодня мы очень богаты.

Слезы, которые льем втихаря,
в горле комок, да и только ли в горле?
Всё, что сгорело – сгорело зазря,
что не сгорело – то просто уперли.



* * *

Тысячелетние древляне
пощады у князей не просят.
Любой кулик своей дяляне
хвалу особую возносит.

Дивиться ли, что сей картине
столь радуются наши души?
Ведь город Искоростень ныне
еще стоит на речке Уше.

И вот достиг он высшей славы
тысячелетних юбилеев:
он стал столицей державы
и учинил погром евреев.

Конечно, в радости и в горе
не грех бывает трохи выпить –
как речка Днепр впадает в море,
так речка Уж впадает в Припять.

На кума в день по две бутылки
чи бильше, если хватит силы.
Что мы багато пьем горилки –
то москали наворотили.

И вновь болезнь царя Гороха,
и снова ноги, словно вата,
что в королевстве Датском плохо –
княгиня Ольга виновата.

Но для любого полководца
нет выше нашей высшей власти.
Пусть только Игорь-князь припрется,
ужо порвем его на части.

* * *

Осень любая всегда хороша,
темень, безлистие, мокропогодье,
не торопясь, уплывает душа
в темный элизий, в страну Беловодье.

Видимо, так повелось в старину,
бредит легендами каждый придурок,
каждому хочется в эту страну
белок, бобров и лисиц-чернобурок.

Все, кто платить не желает ясак,
русской земли незаконные дети,
не попадут ни в ошип, ни впрасак,
здесь для любого – бескрайние нети.

Царская длань не достигнет досель,
здесь никогда не меняют обличье,
здесь пироги и овсяный кисель,
а молоко, разумеется, птичье.

Здесьних коров приучают к седлу,
и на козу бы такое же тоже!
Гость отсыпается в пятом углу,
с лебедем третьим в семнадцатой ложе.

Вкруг Беловодья – луга и снега,
пусть подивится задумчивый странник –
вот они, славные два сапога
и знаменитые семеро нянек.

Звери в лесу ни о чем не скулят,
здесь не страна, а сплошная светелка,
разве что семеро хищных козлят
съесть обещают коварного волка.

С правдой рассказ удивительно схож,
так что ступай и оставь колебанья!
Хвост у жар-птицы отменно хорош
и приготовлен кисель для хлебанья.



* * *

В вечерний час в который раз,
томим усушкой и утруской,
ученый кот заводит сказ,
хотя дурной, но древнерусский.

Видать, в ребро вселился бес:
охвачен страстью неприличной,
берет зубило камнерез,
хотя плохой, зато античный.

Истории наперекор,
над идиллической деревней
висит заржавленный топор –
хотя тупой, но тоже древний.

Звенит большой морской загиб,
и заковырист, и привычен,
в природе каждый архетип
возвышенно архетипичен.

Что небыль есть – то станет быть;
побереги же мутный разум,
не лезь за истиной в бутыль,
она лежит под медным тазом.

Да сгинет русская тоска –
любую разрешат задачу
рассказ про белого бычка,
рассказ про белую горячку.

* * *

Книгу жизни листай не листай –
ты взамен не получишь другой.
Перекинйся, дружок горностаи,
стань каким-нибудь ловким Вольгой.

Встань, любая из русских акул,
и обличье привычное скинь,
превратись в одного из Микул
или, скажем, народных Добрынь.

Пусть над миром царит волшебство,
пусть ничто не дается легко.
Но, дружок, не проси ничего
у заморского гостя Садко.

Лучше сдайся, коль слишком устал,
героизм – это форменный вздор,
видишь, бабою каменной стал
протокольный дурак Святогор.

За бесценок продай, что купил,
твой никто не нарушит покой,
Черномора давно утопил
богатырь Держиморда морской.

Над страной непогода и мрак,
и нельзя уповать на судьбу,
надувается воздухом рак
и свистит соловей на дубу.

* * *

Допустим, я видел граненый стакан
ценою в пятнадцать копеек;
допустим (сознаюсь!) что я – старикан,
и я развожу канареек.

Допустим, поладив с собакой цепной,
засну с идиотской улыбкой,
допустим, советскою кружкой пивной
удобнее драться, чем скрипкой.

Допустим, предательство, ложь и обман,
сверкнут в объектив папарацци,
допустим, что некто звезду Толиман
найдет на двуцветном матраце.

Проведать бы точно – где Бог, где порог?
Чья лошадь не стоит оглобель?
И выдумать порох ужели не смог
Альфред Мануилович Нобель?

Допустим, что в мире покой и уют.
элиты спешат на уликах.
Допустим, что битых десяток дают
за несколько дурней набитых.

Но в жизни не все вылетает в трубу,
героя находит награда,
и вот – приколочено ухо к столбу,
и щит ко вратам Цареграда.

* * *

Скажи, скажи мне, служба быта,
в чем – величайшие благá?
Иль шеду пятое копыто,
иль зайца пятая нога?

Взаправду ли народ шумеров
построил тот великий град?
Взаправду ли таких размеров
был тот великий зиккурат?

Где мастера коровьих седел
и первых спиц для колесниц,
кто суп с котом облагородил
бульоном от крутых яиц?

Почто зловещая чеченка
угрюмо точит пистолет,
и академика Фоменко
на свете не было и нет?

Почто младая Пенелопа
семь лет не может сшить кафтан,
почто стрибает антилопа,
приняв пустыню за майдан?

Поймешь ли при такой напасти,
кто Сирин тут, кто Алконост,
коль нужен, как собаке «здрасьте»,
еще один кобыле хвост?

О нет, века не оскудели!
вот так и тащим налегке
все семь баянов на неделе
и семь котов в одном мешке.

* * *

Всякому городу – черный забор,
всякому овощу – свой помидор.

Всякому Пушкину – свой эфиоп,
всякой тюряге – отдельный подкоп.

Всякому свету – свой собственный мрак,
всякому умному личный дурак.

Всякой гостинице собственный клоп,
всякому скоку особенный гоп.

Шваль, беднота, перекатная голь,
крепкий и очень высокий гуголь.

Шкура невесты, зипун жениха,
мастер-левша, мастерица-блоха,

В меру испуганы, в меру нежны
две полоумных персидских княжны.

Куры, кипящие в адской лапше,
пара в шумящем ночном камыше.

Всякому хлопчику – знамя труда,
всякому рябчику – сковорода.

Сизоворонка, птица ракша,
летит в Анголу из Москвы,
в огромном мире массаракша
лытают от звезды волхвы.

В порыве глупости отважном
пора дела вести к концу:
давай займемся чем-то важным
и хвостотрежем жеребцу.

Мы выделку взамен овчинки
наладим к покати-шарам
и половинку серединки
сдадим ни двум, ни полторам.

Поедем в Тулу с самоваром,
волынку хлебом не кормя,
поставим ящик тары – барам,
с покойником дрожа дрожмя.

Не соблюдем аранжировки
великой арии Хозе;
возьмем из теткиной кладовки
ха-бе, бе-у, ну, и ха-зе.

...Пора спустить седьмую шкуру,
и пить, с другими наряду,
за карнавальную культуру
тринадцать месяцев в году.

За мир ослабленный и хворый,
за всю земную благодать,
за прошлогодний снег, который
решил совсем не выпадать.



Владиславу Резвому

Таланту краткость вовсе не сестра,
хотя обычно в ней души не чают.
Пойдем, поищем от добра добра
туда, где по одежке не встречают.

Где репа спеет на Champs-Élysées,
где керенками выдают в сберкассе,
где мечется с гранатой шимпанзе,
где женщины рулят на главной трассе;

где пес берет владельца на парфорс,
крапивой молодою оскоромясь,
где никогда ни одного «of course»,
где никогда ни одного «I promise»;

где понимают все, где верх, где низ,
где ни единый мозг не обработан;
где пролагает яростный гринпис
дорогу от ферлезен на ферботен;

где пятиглавый демон безголов,
где неудачник делится удачей,
где в Гамельне утоплен крысолов,
и где блестит алмазом бред кошачий;

туда, где слишком много разных льгот,
туда, где гнев ни в ком не закипает,
туда, где наступает Новый Год,
и больше ни на что не наступают.

* * *

Взгляни-ка поживей –
на редкость дружелюбен,
лежит король червей
рядком с десяткой бубен.

Дела пойдут на лад,
мне говорят цыгане:
поверил бы в расклад,
да вакуум в кармане.

Сомнения презрев,
готовым будь к удару –
лежит девятка треф
с валетом пик на пару.

Избавишься ли ты
от публики излишней,
что разевает рты
как на вареник с вишней?

Ни денег, ни любви –
пустое ожиданье.
засим – останови
цыганское гаданье.

Не уповай на фарт –
на что ты зубы точишь?
Чего ты ждешь от карт,
чего ты нынче хочешь?

...Открытое окно,
тяжелый запах сада.
И все разрешено.
И ничего не надо.

* * *

Запаси мгновенья впрок,
сердце зрелищем порадуй –
совершает кувырок
белый голубь над левадой.

Из огня восстав с трудом,
плачет феникс о подружке,
пролетая над гнездом
некукующей кукушки.

Это бред, а не союз,
и смотреть на это жутко –
неподъемный тянут груз
ворон, поползень и утка.

Зри, слепой, внемли, кто глух, –
вот, трепещущих стращая,
квохчет жареный петух,
новолунье возвещая.

С вечностью накоротке
не положено поститься,
будет в каждом котелке
по тушеной синей птице.

Видно, болен мир земной,
видно, час настал суровый,
если кычет над страной
буревестник двухголовый.

* * *

Гой ты, утречко позорное,
неудобная оказия,
пахнет липой море Черное,
пахнет липой вся Евразия.

Пробудясь при свете утреннем,
затаи мечту красивую,
пусть лежит в кармане внутреннем
вместе с липовою ксивою.

Пробуждение не розово,
но блюда, дружок, достоинство,
будь вождем полка тверезого,
в стане липового воинства.

Уповай на веру крепкую
в то, что все на свете здорово,
в то, что мощный дедка с репкою
сбережет беднягу хворого.

Не печалуйся, не всхлипывай,
ибо этого не задано.
Воздух пахнет липой липовой
в дыме липового ладана.

Ранним утром, поздней ночью
берегись судьбы кощеевой,
просто пользуйся отсрочкою
и покуда лап не склеивай.

Мчится жизнь с великой спешкою,
глянь: монета ввысь подброшена,
и грозят орлом и решкою
то принцесса, то горошина.

* * *

Судьбина баснословная –
огурчик, редька, луковка,
среди долины ровныя
развесистая клюковка.

Стоит она, болезная,
страдалица давнишняя,
не то, что бесполезная,
а как-то вовсе лишняя.

При ней живет достойная
целительница, скитница,
у ней овца недоеная.
у ней пустая житница.

За честь болота ратуя,
сопя, глядит с ухабушка
такая вот ягатая,
кошмарная прабабушка.

Ей любо, кобелятнице,
сулить беду проклятую,
стращать гремучей пятницей,
грозить колонной пятою.

Ей служат крысы, кобчики
и в огороде брюквина,
со всех берет поклепчики
старушечка трехбуквенна.

И по карману матушке
держат лакея-возчика,
а также на зарплатушке
особого доносчика.

И песня доносителя
нежна, как масло сливочно,
он продает Спасителя
на вынос и распивочно.

Стаканчик да чесночина,
да сданная посудушка,
и горд собою очень
старательный иудушка.



* * *

Невидимая спутница
ведет себя как хочется,
полудница, причудница,
что в жаркий час щекочется.

Всё родичи прохлопали,
теперь она, покинута,
сидит в широком во поле,
вконец в уме подвинута.

И есть весьма возможная
угроза дуре-нетели:
в том поле очень сложная
проблема добродетели.

Зато по сердцу паника
полудницам-сударушкам,
любя дарящим странника
да солнечным ударушком!

Полна бедою скляница,
пустыми благородствами,
вот потому и тянется
торговля первородствами.

Кладут мышьяк в алабушек
для дорогих соседушек;
успешно травят бабушек,
успешно травят дедушек.

На всех у них привычная
тоска единоличная,
первичная, обычная
похлебка чечевичная.

О ней забыть я пробую,
сто лет не знал бы этого,
но дышит дикой злобою
отродье Бафометово.



* * *

Аксинья-полухлебница,
Аксинья-полузимница,
недобрая волшебница,
сомнительная схимница.

Стращает вьюгой грозною.
холодными хоротами,
творит беду морозную
закрутами, заломами.

Застыла перелесица,
лысеет чаща хвойная, –
безумствует и бесится
погода буремглойная.

Кто может – защищается
стерней чертополоховой
и тошнотою мается
над кашею гороховой.

Томят мечты бредовые
кайфующую в ереси;
на ней звенят ледовые
сустуги да усерязи.

Заменой счастья праздного –
тоска пути постылого,
что из села Маразмова
ведет в село Дебилово.

...Что сказано, то сказано,
священным страхом пронято,
все словари облазано
а ни черта не понято.

* * *

Надев на прошлое аркан,
считая оное за мелочь,
живешь, веселый старикан
по имени Расстрел Расстрелыч.

Ты ценишь более живых
тех мертвых, что толкутся рядом,
и кормишь псов сторожевых
черемухой и мармеладом.

Как грозно чавкают они,
и с каждым часом все жесточе,
сулят Вальпургиевы дни,
Варфоломеевские ночи.

Врагов не видишь ты в упор,
ты пребываешь на покое,
ты и начистил бы топор,
да только отчество другое.

На инструмент бы ты плевал,
однако не в костер, не в яд же!
Ты грезишь о пути в подвал,
как мусульманин о мирадже.

Десницей – держишь ржавый меч,
а шуйцею вздымаешь пончик,
лишь этим можно в мир завлечь
неумолимых адских гончих.

...Надеюсь, что тебе кранты.
Во тьму времен впечатан буди
и провались навеки ты,
потомок белоглазой чуди.

* * *

В чашах прячется неслышно
под покровом темноты
чудо-бабушка, Ягишна,
женщина твоей мечты.

Уголек из печки вынув,
помолись за упокой,
перейди за мост Калинов,
над Смородиной-рекой.

Крыша древняя поката,
немудреные харчи –
бабка, русская Геката,
отдыхает на печи.

Плавно спину изгибая,
кот ложится на ночлег,
под крыльцом, обняв Бабая,
спит Песочный Человек.

Здесь страна матриархата,
здесь мужчины повара,
и для всех открыта хата
от утра и до утра.

Что ж держать жратву под спудом?
Потому, имей в виду,
станешь ты отменным блюдом,
испеченный на поду.

Не урчи голодным брюхом,
не брыкайся, не чудесь:
тут не русским пахнет духом,
а кошмаром пахнет здесь!

* * *

Странные косточки плавают в супе,
в том, что мешает железным пестом
Баба-Яга, прилетевшая в ступе,
Баба-Яга со змеиным хвостом.

Эту бабулю не надо бы лапать,
помни об этом, смотри, не дурей,
Баба-Яга намастрячилась стряпать
и разбирается в ножках курей.

Баба-Ягибиха, ведьма-большуха,
запросто борет любых молодцов
и собрала для поднятия духа
стенку старинных мечей-кладенцов.

Служит метла ей надежным протезом,
пляшет с рогатым ухватом она –
в горнице пахнет каленым железом,
мускусной вонью Кота-Баюна.

Рядом бурьян разрастается пышный,
только не прячься, себя не таи:
блин вместо крыши положен гречишный –
путник, спеши на поминки свои.

Даром ты пятишься с мордой смущенной,
вот и вода закипает, взгляни,
стряпает бабка, и мир некрещеный
в полном восторге от этой стряпни.

* * *

Младой колдун и грамотей
спешит под вечер на танцуйки,
архипрофессор кислых штей
идет играть в архибирюльки.

Бойцы чуждаются бойниц,
на славу покусаясь сугубу;
ища Колумбовых яиц,
Колумбы держат путь на Кубу.

Там побеждает естество,
там бесконечно длится свара,
но чаще дело таково,
что нет ни денег, ни швейцара.

Там точит нос любой комар,
там предъявляют вольнодуму
яичницу, и Божий дар,
и драгоценный фунт изюму.

Затуплено веретено,
нет пороха в пороховницах,
царит невнятие одно
во облацех и во языцех.

В чем этой повести предмет –
вопрос несложный и нехитрый,
а есть ли на него ответ –
не разберешься и с поллитрой.

Но это не беда, мой друг,
по крайней мере – небольшая,
и жизнь заканчивает круг,
прощальный танец завершая.

КНЯГИНЮШКА

Олег ушел за Рюриком,
и мигом вся держава
досталась полным дуриком
мамаше Святослава.

Из рода полунищего
была она едва ли,
по выдумке Татищева
ее Прекрасой звали.

Ловица-перевесица,
российская Диана,
врагиня полумесяца,
владычица талана.

Войска она лелеяла,
стирала в пыль холопов,
и что хотела деяла,
надел древлянский слопав.

Для радости ребятушек,
любителей эффектов,
она зарыла сватушек
едва не пять комплектов.

С князьями не собачилась,
ругаясь по-пустому,
и бабушкой значилась
Владимиру Святому.

Во подчиненье вящее
вступали, беззубасты,
по хуторам дрожащие
российские династы.

Коль пребываешь в разуме,
с такой не будешь спорить:
пренебрегать приказами
не сможешь ты вдругорядь.

И даже не проведешь
родимую сторонку,
на плаху воспоследуешь
и сложишь головушку.

Совсем не вероломница,
лишь капельку грешила,
а что крестилась, помнится,
так то сама решила.

Годков семнадцать правила,
держала скромный дворик,
и ни во что не ставила
то, что сплетет историк.

СТАРЬЕВЩИК

Он не обидел, хозяйственный, мирный,
сроду ни овода, ни таракана:
не проклинаящий жизни сибирной
дядя Игнатий, старьевщик с Балкана.

К делу приставленный чуть не с пеленок
странник глухих переулков исконный,
он, кто несет из еврейских лавчонок
лжицы, киоты, кресты да иконы.

Даже из мусора золото вынет
тропок бывшего уверенный странник, –
он, кто мальчишкам порою накинёт
четверть копейки на ломаный пряник.

В дело вложил он немало таланта,
он ни на что ни копыя не профукал,
он сторговал бы не только Рембрандта,
но и матрешку на семьдесят кукол.

Трензель, мундштук, недоуздок со свалки,
пестерь, кужонка, безмен, сковородник,
вертел, решетка, творила и прялки,
всадник Георгий, Никола Угодник,

вечка, утюг, маслотопка и ступка,
мурмолка, шпага, арчак, табакерка,
мялка, горлатка, бекеша и губка,
скально, рубель, кацавейка, венгерка.

Все, что в углах за столетья скопилось,
жизни минувшей бесценные крохи
так и хранит, не впадая в унылость,
этот последний наследник эпохи.

Свечи колеблются на аналое,
длится прощанье последник поминок,
и уплывает все дальше в былое
незабываемый Сухарев рынок.



Веронике Долиной

Словно малая отметинка,
словно жизнью перекрёст –
Вероника, это Сретенка,
это наш Кузнецкий мост.

Здесь владычило безбожие,
здесь на север и на юг
шли проулки непрохожие,
сразу чуть не сорок штук.

Здесь во славу дела царского,
воспротивясь польским псам,
звали Дмитрия Пожарского
дать драгунам по усам.

Сколько тут на крыши лазано,
постыжусь, не назову,
и отсюда, как доказано,
Ростопчин поджег Москву.

Здесь цвела первопрестольная,
здесь народным был успех,
здесь команда волейбольная –
Вася Сталин против всех.

Здесь, в московском небе плавая,
духом древности горя,
воссияла пятиглавая
мастерская Грабаря.

Времена как будто канули,
но противится душа –
это улица, не странно ли,
одессита Кулиша.

Не гнушаясь перебранкою,
в центр уходит и во тьму,
где продолжена Лубянкою
неизвестно почему.

Жизнь изрядно обесценена,
будто тронута огнем.
Там любимый двор Есенина –
вот не помнить бы о нем.

Дальше путь ведет в Никольскую –
рядом, кажется, почти,
но на ту тропинку скользкую
нет желания идти.

* * *

Ты не печалься, не тоскуй,
сними лефортовы ботфорты,
не просто так, а на Кукуй
ходил войной Иван Четвертый.

Не надо дергаться, браток,
не откопают и саперы
укрытый тайнами приток
таинственной реки Чечёры.

Душой щедры и широки,
в градостроительском ударе
подале от Москвы-реки
селили немцев государи,

как будто к ним благоволя,
но все-таки подальше спрятав
от новодельных стен Кремля
анклав проклятых реформатов.

А позже чуть не каждый год
летел слушок великосветский,
что Наше Всё на небосвод
взошло от улицы Немецкой.

...Пусть город выгорал дотла,
над ним привычно и знакомо
гремел во все колокола
восторг немецкого погрома.

Катились в прошлое года,
дорогою прямой и плоской;
была Немецкой слобода,
а стала Тишиной Матросской.

И что ж, конец? Хоть волком вой,
хоть сердце на осине вздерни, –
однако здесь под мостовой
все те же реки, те же корни.

Ну что ж, давай, гнездо сошьем,
расположившись над Кукуем –
и до чего-нибудь вдвоем
с тобою вместе докукуем.



ХИТРОВКА

Для опашня, тулупа, кафтана кургузого,
для любых зипунов – и незнамо чего
деньги выделил родич масона Кутузова,
отставной генерал Николай Хитрово.

Не грозил никому ни расправой, ни дыбою,
никакой не предвидя грядущей беды,
для снабжения города птицей и рыбою
перед смертью на торжище строил ряды.

Торговать полагалось черкасскими мясами
и колбасами – не залежалым дрянцом,
но напротив – простыми съестными припасами,
огурцом, и рубцом, и печеным яйцом.

Средь подрядчиков дело наделало шороха,
но Господь благодетеля скоро прибрал,
ни осталось от рынка того ни синь-пороха,
только имя оставил Москве генерал.

Здесь воздвигся оплот всенародного опия,
здесь под нарами спал нетрудящийся люд,
здесь однажды сбылась воровская утопия,
и ночлежки любому давали приют.

Пребывая в живительной одури водочной,
беглый каторжник жил, словно ангел в раю;
в этот мир даже нос не совал околодочный,
опасаясь серьезно за шкуру свою.

Чтоб смотаться отсюда подалее до ночи,
поглядеть на нетрезвую жизнь кабаков,
приходили сюда Аристархи Платонычи,
изучая таинственный быт босяков.

И, ничем не отличен от племени серого,
воздвигался, качаясь, актер испитой,
и зачем-то гремела строфа беранжерова,
босякам обещавшая сон золотой.

Словно шелк в желатин, словно ситец на вытравку,
опрокинулся мир этим грезам в ответ,
и шутя превратился в огромную Хитровку
не на час, не на год, а на тысячи лет.

Всё, что сносят, когда-нибудь выстроят заново,
и поэтому с гордостью смотрит в века
благосклонный притин, слобода хитрованова,
сокровенные стогна мечты босяка.

Нынче небо с овчинку, и тускло, и съезжено,
ибо грустно на свете, но нам ли одним?
Вот и плачем над всем, что хранить нам предложено,
и не смотрим на то, что зачем-то храним.

МАРЬИНА РОЩА

В той Роще Марьиной, где люди так просты
и где любая вещь – товар на бестоварье,
мир коммуналок был оплотом нищеты,
что вряд ли думала об этой самой Марье.

Но были времена, когда младой Услад
здесь дурью маялся, рыдая и страдая,
той Марье посвятил полтысячи баллад
близ исполинских стен ужасного Рогдая.

Да, Марью погубил могучий остолоп,
кто были перед ним Чурило и Мудрило?
Но волк его пожрал, а следом он утоп,
сентиментальность тут зело передурила.

Не то Илья ходил на Марью с топором,
не то она сама крошила хулиганов,
но точно говорят, что здесь царем Петром
разбойник пойман был, известный князь Лобанов.

Приноровлялся здесь грабеж ко грабежу
и проползала жизнь отменно неуклюже,
но, глядячи в века, я в целом так сужу,
что было гадостно, но быть могло и хуже.

То вовсе ничего, а то как снежный ком,
то хоронили здесь, а то лупили в бубен,
особо не таясь, в притоне воровском
французские духи мастырил некий Шубин.

Кинотеатр «Ампир» и церковь за мостом,
кончался день любой попойкой регулярной,
и на продажу здесь году в сорок шестом
лепили пироги с начинкою кошмарной.

Фокстрот на косточках, безудержный гоп-стоп,
торговые ряды, снесенные в итоге,
аптека и фонарь, и сотни три хрущоб,
пивнушка в двух шагах от старой синагоги.

Сюда стекался люд со всех концов страны,
и «кошка черная», и доктора в галошах,
Малевич, Мандельштам, и две моих жены,
и множество других людей весьма хороших.

Не то что хоровод – скорей дивертисмент,
зятя и шурины, и девери, и тещи,
творцы невольные пленительных легенд
той рощи Марьиной, в которой люди проще.



Как сердце молодо под ветхою одежей!
Сколь обольстительно сие противоречье!
Со стороны Кремля взгляни на Юг, прохожий,
там, за Москвой-рекой, лежит Замоскворечье.

Эдем купечества и для воров приманка,
край миллионщиков, неспешное довольство;
два мира сплвила Большая Якиманка –
усадьбу Мальцевых и франкское посольство.

В старинных Кадашах с великою любовью,
кирпичному даря вниманье колориту,
владыка приравнял к торговому сословью
литературную советскую элиту.

О дом семнадцатый напротив Третьяковки!
Советский аромат, отнюдь не хризантемий:
и стирки тяжкий дух, и запахи готовки;
дом славных стукачей и нобелевских премий.

Был чист парадный вход, а черного не нюхай –
дом все же не рокфор, а где вопросы к сыру?
Сей дом любой жилец именовал Лаврухой,
платя за телефон, за свет и за квартиру.

Здесь жил Осаф Каган, известный как Латунский,
в дому писательском квартиры брали с бою –
кто ехал на коне, кто ползал по-пластунски,
а кто-то пару строк черкнув, само собою.

Кто душу продавал, кто призывал ифрита,
а кто-то власть считал своей коровой дойной,
одна лишь на метле нагая Маргарита
летала ночью здесь, взяв молоток отбойный.

Но бить по клавишам – несложная забота,
куда сложнее, когда идет огонь кинжальный,
рождалось и рвалось немыслимое что-то:
рояльная скрижаль, не то рояль скрижальный.

Тут что ни мемуар, то сразу морда крысья,
неужто это все? При этом, тем не мене,
будь с благодарностью помянута Анисья,
чье имя, видимо, не подлежит замене.

От славы тех времен звенит лишь отголосок,
весь миновавший век на задний план оттиснут,
здесь повод есть для ста мемориальных досок,
но, видимо, они на стенах тут не виснут.

Приполз грядущий век, безжалостный лазутчик.
Обрушилась на все великая усталость.
Нет ни писателей, ни внуков их, ни внучек,
и смысла вечность то, что ей не причиталось.

* * *

В сокольничьем полуквартале
в простор невыразимо чистый
царевы кречеты взлетали,
и кантовались трубочисты.

Здесь находили службу парни,
здесь путались кнуты и вожжи,
и были здесь царевы псарни,
и Пушкин жил, хотя и позже.

Но век отбросил алебарду,
и вот, к депрессии не склонен,
на чердаке свою «Мансарду»
устроил знаменитый Пронин.

Рожденных в год пятидесятый
баюкал Сталин песней детской
и драгоценною цитатой –
на нашей улице Стрелецкой.

Судьба – хрома, слепа, горбата –
с собой таскала на шпагате
не якобы детей Арбата,
а нас, рожденных на Арбате.

В быту не шатком и не валком,
то днем скандал, то ночью дрема,
ютились мы по коммуналкам
в клетушках струковского дома.

В той темени хоть яму вырой,
там было тесно, как в кутузке,
и я под «Зойкиной квартирой»
учился говорить по-русски.

Со зла сходи к реке на берег,
прощайся с клумбой и фонтаном,
под пеплом века сгинул скверик,
пропал, как некий Геркуланум.

Тот прежний мир остался рядом,
в каком-то срезе или слое, –
мой старый двор глядит фасадом
туда, в разверстое былое.

Все живо там, о чем и речь-то,
хоть, может, изменилось что-то.
Здесь нынче тоже видно нечто,
да только видеть неохота.

Там одесную и ошую –
Арбат, и там дорогой краткой
мы на Молчановку Большую
бредем Собачьею площадкой.



Вадиму

На джинóm сыр ада пхен, ромалэ:
сроду песен я таких не пел;
но меня мелодия поймала,
и не замолчит, мирó дэвел!

Горечь хуже голода и жажды,
и тоска невероятных стран:
я и не заметил как однажды
подобрал с дороги паттеран.

Долог путь, дорога никудышна,
да и корка черная черства,
но отец из прошлого чуть слышно
отвечает на мои слова.

«Мы с тобой идем так долго, дада,
сколько нам еще с тобой идти?»
«Чяворо, идем мы так, как надо –
сорок дней еще у нас пути».

«Ну, а там что делать нам, ей-богу:
расскажи мне, дада, поточней».
«Чяворо, вздохнем, а там в дорогу
двинемся еще на сорок дней».

Эрлу Ойгену де Галанта

Говорят, времена миновали,
но, сопутствуя русской хандре,
разливается песнь о Трансваале,
где живет моя Сари Марэ.

Приступивши к труду спозаранок,
вал коленчатый нежно схватив,
реставратор последних шарманок
промурлыкает тот же мотив.

Вал заводится с пол-оборота,
но печальна такая деталь,
петь шарманка и может всего-то
про разлуку и дальний Трансвааль.

Впрочем, в этом укор неуместен,
спрос на песню в России велик,
но Европе совсем неизвестен
изумительный бурский язык.

Бур силен и отчаянно ловок,
он умеет идти напролом
при посредстве старинных винтовок
с нарезным шестигранным стволом.

Но столетье скопило усталость,
у всего и во всем нелады,
и одна только песня осталась
от великой трансвальской беды.

А Европу сомнение точит,
ей хватает своих лагерей,
и никто уже вспомнить не хочет,
кто такой генерал де ла Рей.

И грохочут советские танки,
и гремит артобстрел на заре,
лишь слышать сквозь «Прощанье славянки»,
как поет моя Сари Марэ.



* * *

Не мешайте, Бога ради,
долетает сквозь века
звон гитарный, саудади,
португальская тоска.

Изготовься к флажолету,
скрипку верную настрой,
ведь однажды выйдет к свету
тот король, что под горой.

Себастьян, король последний,
не вернувшийся король –
католической обедни
монархическая боль.

Где-то жив властитель юный,
он свободен от оков,
недоверчивые струны
ожидают пять веков.

Стихнут бури, сгинут хвори,
ветер парусом лови!
Нет ни моря, нет ни горя,
нет ни денег, ни любви.

Пусть туристы и туристки
будут слушать без конца
голос нервный, голос близкий
лиссабонского певца.

Прочь, обида, прочь, досада,
пой что помнишь, все подряд,
ибо знает только фадо
то, о чем не говорят.

* * *

В мире нет ни ямба, ни хоря,
в реках Вавилона нет воды.
Нет на свете Вечного Еврея,
все евреи – Вечные жида.

Сколько мы молитв ни воссылаем,
но, видать, застряла в горле кость:
все никак, никак в Ерушалаим
не приходит долгожданный гость.

О вещах подобных думать дико,
горький вывод сделаешь вот-вот:
ты поди-ка, друг мой, соблюди-ка
все шестьсот сорок четыре мицвот.

Молока не купишь на базаре,
лучше там не покупать вино;
ездить в синагогу на «феррари»
как-то не совсем разрешено.

Так уж в мире этом повелось,
что наука в целом нехитра:
для субботы береги лосося,
даже не гляди на осетра.

Будь душой решителен и стоек,
и сомненьями не мучься впредь,
и старайся не смотреть на гоек,
даже если трудно не смотреть.

Ибо сеть всемирной паутины
о душе не знает ничего,
и не скажет ветка Палестины
где дорога до горы Нево.

Артуру Артеяну

Благословенна круглая пшеница,
гвоздика и кунжутное зерно,
и нгатзахик, и масло, и корица,
тараз расшитый, тонкое сукно.

Урартский лев – густая шевелюра,
дудук, зурна, дарбука и барбет;
неверятный голос Азнавура,
звучащий чуть не восемьдесят лет

Все то, что предки бережно хранили,
все то, что было счастьем и бедой,
и темно-красный отсвет кошенили
над западною горною грядой.

Лугов альпийских тысяча обличий,
веками устоявшийся уют
и свято соблюдаемый обычай,
когда один коньяк мужчины пьют.

Далекая мелодия гитары,
аккордеон, и скрипка, и свирель,
высокие арцахские хачкары
и в озере плеснувшая форель.

Века, что не знавали угомона,
что шли не торопясь, но все же шли,
цвет персика, граната и лимона,
цвет неба, и огня, и цвет земли.

Все то, чему в приюте не откажет
просторное Ширакское плато,
и все, о чем уже никто не скажет,
и все, что не сказал еще никто.



Стефано Гардзонио

Спагетти, папарделле, фетучини,
гламурные, как Верди, каннеллони,
конкильи слаще, нежели Пуччини,
и прочие любые маккерони.

Тосканские сердечные терзанья,
Венеция у точки замерзания,
Эмилио-Романья пармезанья,
ризотто, моццарелла и лазанья.

Карпаччо, пицца или чечевица,
часы поста, недели мясоеда,
утеха всех, кому давно не спится,
отрада всех, кто спит и ждет обеда.

Рецина, а точней мечта крестина,
которую соседи разругали,
капрезе и бистекка фьорентина,
Неаполь, как шашлычник при мангале.

И ночь, что навалилась незаметно,
и на туристов горькая досада,
и Стромболи, и где-то рядом Этна,
и многое еще, чего не надо.

Моря, и горы, и луга, и доли,
и к западу стремящиеся барки,
и стон последней дальней баркаролы,
и слон последний Ганнибала Барки.

Все, что хранится только на картинах,
все то, чему не рады даже боги;
и все, что говорится на крестинах,
и все, что пишут только в некрологе.



ПРЕНИЕ НОЧНОЕ

...немцы <...> среди прочего своего лаяния, коим ругают наш народ, пишут: «русские, дескать, любят соленую рыбу, которую учуешь носом прежде, чем увидишь оком, и эта вонючая рыба русским кажется очень хорошей». <...> А того не пишут, что они сами подают на стол для угощения вонючий сыр, в коем ничего нет, кроме червей, и едят этих червей ложкой и не замечают, что этот сыр мерзко воняет.

Юрий Крижанич

Но Аполлон за то, собрав «прутков» длинные,
Его с Парнаса вон! чтоб был он поскромнее!

Козьма Прутков

В кухне ночной – поразительный форум,
будто собаки заходятся в лае:
с вечера спорят селедка с рокфором –
кто из них нынче сильнее воняет.

Первым рокфор говорит ядовито,
«Вонь моя истинно страшных размеров:
вонь, заверяю, не столь духовита
мюнстера, бри и других камамберов.

Хочешь ли чаю порою ночную –
нужно немало угля или щепок;
вот и повесь-ка топор надо мною,
дух мой, как совесть народная, крепок».

Но и селедка отвечает сходу:
«Уж помолчал бы про эдакий случай,
ибо не слышал ты, видимо, сроду
про ароматы селедки вонючей.

Ты не рассказывай сказки об чае;
не издевайся над нашей державой;
запах всех прочих на свете сильняе
тот, что стоит над селедкой ржавой».

«Вижу, селедка, ты дура большая,
духом ты с ямой помойною сходна, –
а вот меня обоняют, вкушая:
ибо смердение мое благородно».

«В речи твоей – ни малейшего смысла:
зелен ты, хоть выпускаешь токсины,
ты, молоко, что бездарно прокисло,
я же – родная сестра лососины!»

Лучше не слышать бы спор этот жуткий,
лучше бежать из родимого дома:
ибо не выдержать в здравом рассудке
смрада рокфора и смрада залама.

Важный вопрос обсуждается ноне:
вычитать можно в которой книжонке –
лучше ль на родине сдохнуть от вони
иль отравиться на дальней сторонке?

Масло прогоркшее тает тревожно,
киснет от смеха рассол огуречный,
в кухне подохнуть от запахов можно,
и продолжается спор бесконечный.



* * *

Нас едва ли оставят в покое,
потому размышлять тяжело,
чем приходится и что такое
человеку шестое число.

Эта цифра над нами владычит,
вечно пляшет, играет с огнем:
чет и нечет, а главное – вычет
отбирают у нас день за днем.

Дни с мечтами из старых запасов,
откровения жизни пустой,
что занудны, как худший Некрасов,
и бесплодны, как поздний Толстой.

Но не надобно с мордой угрюмой
через сточные трубы ползти:
лучше думай, дружок, лучше думай:
чем заполнишь остаток пути.

Дочка замуж пойдет за канадца:
знаем все про любовь и козла;
интересно, кто стал бы канаться,
чтоб она за бушмена пошла?

Впрочем, пусть развлекаются детки,
выбирают житье да бытье;
только лучше забыть о рулетке,
ибо шарика нет для нее.

Что страдать о судьбине печальной?
Ни о чем не жалея почти,
надо, помни, дружок, с максимальной
пользой долгие дни провести.

Нужно гладить кикиморе спину,
обещаньями квасить компост,
из фуфали валить в шелупину,
сыпать соль на невидимый хвост.

Размышлять о седьмых или пятых
человеку не стоит ничуть,
можно вовсе запутаться в датах,
а вот эту – поди позабудь.

...Быть стараясь попроще, почище,
аккуратно кончая дела,
все кроят из блохи голенище
человеци шестого числа.



* * *

...Нас – туда, а их – оттуда.

Дон Аминадо

Там, где еще, но не уже
бывает смена караула,
где бюст поручика Киже
стоит на улице Джамбула,

где сердце с правой стороны,
где совесть вечно неразменна
где обе стороны луны
видны с земли одновременно,

где мыши в клочья рвут котов
и на глазах меняют колер,
где к пораженью не готов
бесстрашный Гершель Острополер,

где ожидал Наполеон
таинственных бояр с ключами,
где стал пирог наполеон
владыкою над калачами,

где восседает на цепи
вдоль моря сборище орясин,
где смех, грохочущий в степи,
и тот едва ли безопасен,

где что ни жулик, то султан,
где фраков больше, чем кафтанов,
где есть один Большой Фонтан
помимо маленьких фонтанов;

где пенится девятый вал,
шипя, как утром кофеварка,
и где однажды побывал
великий Марио Саммарко,

где воздух солон и медов,
где человек – не царь природы,
где ароматы городов
важней, чем города и годы,

где жизнь отнюдь не благодать,
где русского не помнят дети,
где нужно только переждать
несчастливых семь десятилетий,

покуда из Парижа нет
к Ельцу протянутой железки –
до той поры заснул поэт,
у деревушки Перлашезки.



Облетают вянущие уши,
неприкосновеннейший припас.
Не спасайте люди, наши души,
мы спасемся как-нибудь без вас.

Не найдешь спасенья от пожара
среди арбатских палуб и кают,
потому как кубатуру шара
вычислил московский неуют.

Объявился строй многоголосий
и звучит на месте на пустом,
Ксожалений и Недовелосей
набралось на мемуарный том.

Истина скрывается среди нетей,
не желает приходить домой,
каждый нынче Тот, Который Третий,
а не Третий, так поди, Восьмой.

Следователь горестно взволнован,
что же он такое напаял –
как же вышло: вот такой прозеван,
мировой расстрельный матерьял.

Врут потомки, ошибаясь в датах,
снег декабрьский мечется врасхлест;
тянется десяток провожатых
медленно на никакой погост.

Хуже всех – кладбищенской кобыле,
задран хвост попавшею вожжой.
И растет крапива на могиле,
да еще при этом на чужой.

...Другой половины осталось немного...

Аркадий Штейнберг

Медведь неубитый блуждает, забыв про берлогу,
апрельские раки творят благодать неземную,
рубаху надень наизнанку, собираясь в дорогу,
и царское дело считай за привычку дурную.

Бесценна коллекция грамот святого Филиппа,
хотя и покрыта проклятьем и руганью смачной,
изрезана Велесом каждая русская липа,
и тянутся с Волги подводы с икрою корсячной

Напрасно в цари ты Григория нового прочишь,
уж лучше пошел бы к медведю, склонил его к спячке,
сверх меры усталый, пришедший из темных урочищ,
в беспамятстве ест он, молчит, будто рыба в горячке.

Весеннего пива щедрей наливавай из кумгана,
закусывай всем, чем поделится русская пажить,
но если от этого все-таки станет погано,
рыбешки под водку вели на закуску напряжить.

А там и настойка полыни пойдет спиртовая,
но все же не более выпей большого стакана,
по водам реки отпуская ломоть каравая,
ищи не могилу, а золото скупца Чингисхана.

В стремнину реки угодив, добирайся к побережью,
не верь, что в стране для тебя не отыщется снеди,
надейся на веру свою и на силу медвежью,
на бурых медведей, а также на белых медведей.

А дрожжи подходят, вздымая куличное тесто,
и день будет светел, и праздничный стол хлебосолен.
Пасхальным каноном грохочет священное место,
и звон византийский струится со всех колоколен.

Пусть минет июнь, оборвутся июльские ночи,
судьбой человеческой, хрупкой игрушкой, играя,
а там уж как выпадет в августе, словом, короче –
дорога прервется, начнется дорога вторая.



ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ. 1568

Гуся бесхвостого за бедность не чехвость,
жарой не попрекай того, кто сдох от стужи.
Что пользы бы слону глотать свою же кость,
и жить ли под метлой при убежавшем муже?

Овца старается не пить воды с лица,
стремительной свинье не совладать с гулянкой,
и правоверному опять нужна маца
затем, что кровлю крыть он не желает дранкой.

Кто в каше плещется, как белка в колесе,
и околачивать всех лучше может груши –
тот нынче шуку ест с мечтой о колбасе,
и голубь жареный к нему стремится в уши.

Лежать в бекеше ли на золотом руне?
Коль счастье кругом – откуда взять печаль бы,
и как не расцвести измученной стране
в добротолубии божественного Альбы?

Отнюдь не просто так его прислали к нам,
отнюдь не для белил свинец вливают в тигель;
пусть с осуждением глядит по сторонам
из зеркала сова по кличке Уленшпигель.

Конечно, молодцу в укор не ставят быть,
но мало ль что еще у молодца в программе?
Не зря невинностью гремят повсюду Тиль
и соблюдающий посты красавец Ламме.

Художник, громче пой о счастье своем,
роптать в подобный миг по меньшей мере глупо;
так здорово страна богата вороньем,
что куры не нужны для праздничного супа.

И трудно ли о том не ведать, например,
что сжечь еретика способен и младенец,
что на костер пойдет мерзавец де Костер
за то, что не воспел ворон поверх шибениц.

Ужели не видать, сколь сладко испокон
всходить на эшафот дорогою недлинной,
и можно ль превзойти старинный Монфокон,
наименованный Горою Соколиной?

Как трудно не упасть созревшему плоду,
с неверною судьбой играя в чет и нечет:
и, право, грешнику прощение в аду
небесная любовь едва ли обеспечит.

И все-таки поет художничья душа,
что наступает час никак не раньше срока,
и пусть узнает мир, сколь дивно хороша
на перекладине сидящая сорока.

О чем пословица – не спрашивай, браток, –
подобный интерес на общем фоне мелок;
гремит аукцион, грохочет молоток,
и где оригинал средь тысячи подделок?

Хоть заливай шары, хоть прочь палитру брось
туда, где ползают испанские гадюки,
где на любой авось имеется небось,
из коих нить сучат три окаянных суки.

Подобное терпеть художнику невмочь –
лишь времени река в бывшее убегает,
и ждет Варфоломей, когда наступит ночь,
и стрелки на часах слегка передвигает.

ДЖЕРОНИМО. ЖИЗНЬ НЕСКУЧНАЯ

Воистину: к войне миров
не подготовишься заранее.
Сергей Петров во град Петров
пришел из города Казани.

Презрев покой и угомон,
он сеял бурю и сполохи,
он камень при земной рассохе,
он многомудрый ихневмон.

Знаток ерша и рыбы фугу,
хранитель мудрости двоперстной,
творец, любому делу сверстный,
во всякой теме зривший фугу.

Всегда отвержен и гоним,
по-своему единствен в мире,
лесовичок Иероним,
Джеронимо всея Сибири.

Знаток и голода, и слез,
и лагерей и зуботычин,
где ночь – как чистой донос,
а день отвратно черновичен.

И, урожденный при Свяге,
плевавший на изящный вкус,
вовек не занимал отваги
почетный житель Бирилюсс.

Не трепеща и не ропща,
шел через сотни пересылок
разверстой вечности обмылок,
знаток баланды и борща,

Словесной пошлости афронт,
угроза русской лихоманке,
последний в нашем мире дронт,
Джеронимо всея Фонтанки.

Уютство видевший в тюрьме,
насельник зыбунов и сплавин,
с кем говорили в дивной тьме
равно Тынянов и Державин.

Он, постигавший голоса
звериные и человечьи;
освоивший за три часа
криптоглоссонное наречье:

*Офень, луцющий егуратник,
абрам некатный, гырый, слытный,
дикой, кирхолящий горбатник,
гиркон, гиримный и громитный.*

При лошадях – и Фрол, и Лавр,
при воинстве – Борис и Глеб,
трудившийся за кров и хлеб
последний в мире динозавр.

Он, сроду не носивший тройки;
всегда вступавшийся за братца;
за то старавшийся не браться,
в чем ехал Чичиков на тройке.

Стихи творивший в струйках дыма
при догорающем огарке,
на правом берегу Чулыма,
на левом берегу Игарки.

Столетия страшного заложник,
прокравшийся через года;
непойманный Скворода,
свободомыслящий острожник.

Недобровольный аноним,
слухач гармоней и гармоний;
не то, чтобы святой Антоний,
зато святой Иероним.

Тому теперь хвалу неси,
кого не приняла эпоха:
родному сыну Антиоха,
Джеронимо всея Руси!



Памяти о. А.М.

Возьми да и нарушь условия игры,
обиженный простит – так что ж, просить прощенья?
Полкружки теплоты, восьмушка просфоры
и полведра воды – всё таинство крещенья.

Да, лучше б на миру, но, в общем, наплевать,
какие там пойдут суды и перетолки,
не время тосковать, не время торговать,
но время собирать последние осколки.

Улыбкою ответь на каверзный вопрос,
скажи, мол, тороплюсь, мол, бьют копытом кони.
Загадок больше нет. Отбит у сфинкса нос.
История мидян ясна, как на ладони.

Она-то позади, да темень впереди,
и ни зарубки нет, ни лодки, ни причала.
Так, не спеша, плетись, куда-нибудь приди,
где можно кол забить, забывши про мочало.

Не бойся вновь уйти в земной круговорот.
Как сердцу не саднить, коль в нем навеки рана?
Трудись и не ропщи, вот так и жизнь пройдет:
привычнее, чем смерть – но лучше, чем нирвана.

...И лист мелькает...

Иван Елагин

Кленовый лист – совсем не флаг Канады,
но подчиняет мысли, чувства, взгляды,
но – он часов осенних господин.
Он – цвета крови не вполне арийской,
и русский крест под надписью английской,
быть может, вижу нынче я один.

Как будто не всерьез, а понарошку
умелец врезал в мраморную крошку
и восемь цифр, и между ними – нить.
Да, здесь, у древних вод Мононгахилы,
конечно, будут новые могилы.
Америка умеет хоронить.

Но, красный лист, не прерывай же танца!
Кружи привычный взгляд американца
и прорезями дивными сквози,
пускай хотя на миг отступит горе,
как свечка во Владимирском соборе,
то вверх, то вниз, то вверх, то вниз скользи.

Былое, отворись, отдерни шторку,
дай повидать Владимирскую горку,
Харбин, Саратов – всю колоду карт,
все – либо цвета крови, либо смоли,
жизнь рассклалась на две неравных доли,
в июне оборвался месяц март.

А карты – липа, ни одной без крапа,
без фетра шляпа и пальто без драпа,
а в пригородах бомбы и пальба,
а позже – вовсе жребий неизвестен,
и лишь один великий драп нах вестен –
глядишь, еще да вывезет судьба.

...Но я строку печально обрываю,
я, как овчарка, мчусь вослед трамваю –
нет, не догнать, и осень на дворе.
Продлись хоть миг, наш век недолговечный,
а дальше – только крест восьмиконечный
и всю судьбу вместившее тире.

Упасть, ползти на ослабевших лапах,
земли осенней втягивая запах,
он все слабее – зимний воздух чист.
Пора покою, и пора порядку,
лишь кружится, впечатанный в сетчатку,
кленовый лист, кленовый красный лист.



Памяти А. С.

Тень креста завращалась, прозрачная, словно слюда,
стала храмом летающим белая тень вертолета.
Это правильно: пылью соленой уходишь туда,
где в небесных морях ждет тебя генерал Фудзимото.

Но якшаться с покойником нынче тебе не с руки,
генералу положено гнить в самурайской могиле,
а тебе – вспоминать, как под Нарвой, услышав рожки,
восставали в крестах те, кого отродясь не крестили.

Видишь, вышние рати идут на последний удар,
размышлять ни к чему, полумеры не стоят усилий.
У пролива скорбит умирающий град Арканар,
что героям опять не хватает албанских фамилий.

Вековая традиция наша – кто смел, тот и съел,
океан Айвазовского мутен, хотя и неистов.
Никакого прогрессорства, это печальный удел
полоумных актеров, отчаянных униформистов.

Не нашлось тебе места в грядущих бездарных мирах,
но едва ли ты станешь томиться у берега Леты.
Никакого надгробия, ибо развеялся прах
над Москвою рекой, над холмами зеленой планеты

Никонияне блядословят,
рванувши на груди рубашку.
Трехцветный кот мышей не ловит –
его душа нарастопашку.

Он полон страстью неумной
и к помидорам, и к цибуле –
и, значит, скоро дождь обломный
и, значит – скоро снег в июле.

...Под пихтой не пиши гедихты,
там на бабло не сыщешь мазу.
Договоримся – если псих ты,
не Гамлет ты еще ни разу.

Из памяти того не вытру-с,
как зал вставал с великим шиком;
мы знали: лучший в мире цитрус –
на Лихоборах Гоп со Смыком.

Ни в чем не хиппи и не яппи,
и точно не осетр в запруде,
он говорил, что дело в шляпе,
но в ней не появлялся в люди.

Порой пугал до полусмерти –
не то, чтобы цензура дура –
он тискал прямо на конверте,
что ноты взял у Азнавура.

Ужель забудем те отрады?
Он так пленительно, так смело
мастырил дивные баллады
о самой главной части тела.

Пора бы тут остановиться!
Не разберешь – кто смерд, кто рыцарь.
Намучась болью треппенвитца –
беседер быстро стал бекицер.

Жизнь промелькнула так мгновенно,
как наспех выпитая чарка.
Тут не хватает Марка Твена,
тут просто не хватает Марка.



* * *

Знаю, у времени – два направленья,
но не везде прорастает былье,
кто-то в веках изрубил на поленья
все родословное древо мое.

Книгу открыть, заглянуть в содержанье,
крохи познания оттуда украсть –
думаю, предки мои – горожане,
если не все, то изрядная часть.

Кто незнакомец, а кто незнакомка,
выясним, если поглубже копнем.
Предок обычно важнее потомка.
если хоть кто-то подумал о нем.

Тот – к Елисееву шел без доклада,
этот к приказчику шел на поклон;
боги чаев, мастера шоколада,
немцы, хазары и весь Вавилон.

Жребий увязывал общей серединой
черных, как уголь, и белых, как мел.
Точно лишь то, что из них ни единый
слова по-русски сказать не умел.

Точно, что каждый стремился к удаче,
тяжким труд зарабатывал хлеб,
даже чутье не поможет собачье,
чтоб разобраться в сплетенье судеб.

В вечности что и кому отломилось,
бедным разносчикам и торгашам,
Можно ль душе полагаться на милость,
нужно ль молчание жадным ушам?

Сытость нужна ли глазам завидушим?
Предки с потомками строятся в ряд:
вот потому, полагаю, в грядущем
эти поленья еще погорят.



* * *

Весь род мой позабыт примерно поровну,
выходит, за него теперь в ответе я.
Прабабку Алоизию Егоровну
зову из позапрошлого столетия.

В дни императора золоторунного,
родившись в Вене, разве не на Пратере,
взыскаю мужа, бизнесмена юного,
уехала в Москву, к российской матери.

Не зная русского, могла отмачивать
загибы сложные, незаурядные,
пока супруг учился заворачивать
грильяжи и конфеты шоколадные.

Он опочил, в обжорстве невоздержанный,
над фирмой ей пришлось принять владычество.
Империи колосс, еще не сверженный,
служил поставщикам его величества.

Хранил отец воспоминанья детские,
как рухнули на мир события главные,
сказали бабке: сволочь ты немецкая,
немецкая, хотя и православная.

Конечно, надо б ей бежать подальше,
но медлила до самых дней падения,
и умерла в какой-нибудь Латгалии,
за тридцать лет до моего рождения.

* * *

О Вена, ты столица, ты восторг,
с тобою время никогда не сладит!
Здесь у Дуная проживал Георг,
известный лишь по имени прапрадед.

Какие он законы преступал?
Об этом было б разузнать занятно,
он, вероятно, что-то покупал,
и продавал, что тоже вероятно.

Судить об этом нынче трудно мне,
иначе было все во время оно.
Мой предок жил в той сказочной стране,
где правил мрачный тесть Наполеона.

Что начиналось и текло доколь:
темнее ночи был апломб имперский,
к тому же новоявленный король
предпочитал беседу по-венгерски.

Но пращур как-то жил в родном краю,
тихонько делал бизнес в одиночку,
в Москву удачно отослал свою,
похоже, не единственную, дочку.

А нынче – где века, где рубежи?
На прошлое улегся мегатерий.
Попробуй-ка, и заново сложи
обломки развалившихся империй.

Цари природы – сущие птенцы,
и, что ни век, одни и те же трюки –
ни в чем не разбираются отцы,
и ни черта не понимают внуки.

* * *

Семья считала за позор –
двоюродное чудо в перьях.
В руках-то, ладно, был фарфор,
но в голове-то – полный Рерих.

Пусть даже путь по жизни крут,
исполнен хитростию адской,
однако все тропы ведут
к верховной мудрости Блаватской.

Ее вдоль времени несло,
подобно кукле-неваляшке:
всем оккупациям назло,
она расписывала чашки.

Сплошные беды на обед,
до Воркуты – маршрут неблизкий,
там протрубила десять лет,
вот разве с правом переписки.

Открылась новая глава,
и ей искусство жизнь купило,
имеют в лагере права
на всё – художник и лепила.

В богатстве или в нищете,
забыв про радость и про горе,
прокоротала жизнь в мечте
о Рерихе и о фарфоре.

От этих баснословных лет
осталась горькая досада:
в них то ли вовсе смысла нет,
а то ли быть ему не надо.

* * *

О нем скудны познания мои
докапываться тяжело до сути.
Отец его развешивал чай
и четверть века проторчал в Калькутте.

А сам он вырос – парень хоть куда,
но был в мозгах повернут, – что за жалость!
Ничто помимо Страшного Суда
его, похоже, в мире не касалось.

Когда пришли и немцы и паек,
то в сорок первом, в первое же лето,
он загреметь на виселицу мог,
вытаскивая девушку из гетто.

Но гаснущая на глазах война
оскал явить успела крокодилий:
была сестра в тюрьму уведена,
а он – дурак, его не посадили.

Не путь от Риги и до Воркуты,
а пропасть много большего размера –
им жизнь дала две разных правоты:
и вот иди пойми: где ложь, где вера.

Тянулся век, в нем каждый жил с клеймом;
он в воду вечно лез, не зная брода,
не праведник в значении прямом,
но праведник еврейского народа.

Однажды вправду будет Страшный Суд,
случится так в мистерии грядущей
кого-то в бездну черти унесут,
кого-то пустят в благостные кущи.

что выпадет – о нет, о том ли речь? –
однако пусть минует лотерея
того, кто душу смог в пути сберечь,
беречь ее на деле не умея.



* * *

Он ростом был с некрупного клопа.
Он жил, как говорят, неозабоченно.
Однажды сел, и привела тропа
сперва в тюрьгу, а затем в Могочино.

Со ссылкой вышло чуть не двадцать лет,
судьба дарует разные критерии.
Всего-то счастья: кашу на обед
варил бараку повар из Иберии.

Он проползал сквозь годы, словно крот,
все мучился сомнениями скрытными,
все вычислить хотел: а кто сексот,
что посадил его с друзьями ситными.

Однако хватит мыкаться в глуши,
поскольку времена настали новые –
он начал по велению души
поэмы сочинять километровые.

Был стих его бездарен, но не лжив,
признание зека вовсе не тревожило,
когда же умер – весь его архив
родня почти с восторгом уничтожила.

...Что вымрет род, того никто не ждал.
Но стало так – велением Всевышнего.
И нынче даже некому скандал
устроить мне за разглашение лишнего.

Что вспоминать о родственной грызне,
тогдашней власти сгинула громадина,
и нынче только очень стыдно мне
за то, что сожжено наследье дядино.

Тетка моя Лариса
всю жизнь на картах гадала,
таро на столе раскидывала,
бывало, что до зари.
Тетка беды боялась,
но все-то ей смерть выпадала,
и, сколько ни оберегалась,
померла – в девяносто три.

С колодой карт под подушкой
мирно угасла старушка.
Семья проводила горестно
бедную на погост,
шепчась втихаря, что глупо
сгинуть ни за понюшку,
полвека собственной жизни
отправив козе под хвост.

Быть может, лучше, покуда
сгорает нитка вольфрамовая,
на прошлое и на будущее
глядя, как на врага,
не уповая на чудо,
радоваться, отламывая
кусочек кулича пасхального,
пирога или творога.

Тетка моя наконец-то
дошла до заветной цели:
каждый по собственной речке
все к той же точке плывет.
Карты все же не лгали,
а тетка была при деле –
она не коптила неба
и знала, зачем живет.

* * *

Сходились в доме, как два купца,
решивших делить навар,
Рудольф, двоюродный брат отца,
и мой отец, Вольдемар.

И всегда бывало тою порой:
малек рассеяться чтоб,
старики начинали, налив по второй,
злой политический треп.

В совсем еще недавние дни,
со всемирного бодуна
воевали друг против друга они,
ибо общей была война.

И было им что ночью, что днем,
одинаково тяжело:
один дрожал под прямым огнем,
под бомбежкой другого трясло.

...И водка лилась, и дымился плов –
мир-дружба! живи-не-тужи!
Вплетались в грамматику русских слов
немецкие падежи.

Я внимательно слушал моих стариков,
плюнув на роль судьи,
уже не думал, каков таков
жребий моей семьи.

...Семья-то одна, а родин две,
и выход необходим.
Вот я теперь и живу в Москве,
в Берлине – мой сын Вадим.

* * *

Минувшее – черней монашьей рясы,
но проступают сквозь его туман
не то Днепропетровск, не то Черкасы,
не то еще какой-то Аккерман.

С трудом найти судьбу понеприглядней,
я думаю, сумели б небеса;
весь день торчал отец на виноградне,
а мачеха вставала в два часа.

Тянулась жизнь в селении унылом,
и вот однажды, плюнув на молву,
она сбежала с дедом Михаилом
сперва в Одессу, а потом в Москву.

Она любила вспоминать, как глупо
от города впервые трепеща,
на первое взяла тарелку супа,
а на второе – котелок борща.

Вооружен нахальством несказанным,
вписался в строй рабочих и крестьян
прикинувшийся красным партизаном
бело-зеленый крымский партизан.

Пусть времена противились упорно,
не меньше них была упряма ты
и находила блещущие зерна
в семи десятилетиях нищеты.

Что ж уцелело? – ибо среди обломков
искать иное – стоит ли труда? –
две тонких нити выживших потомков
и больше ни единого следа.

* * *

Внук ветеринара и садиста,
раб столетья и своей фантазии,
аккуратно, чутко, сноровисто
строивший дороги в Средней Азии,

отчим знал: судьбу не переломишь, –
тут, конечно, в фактах малость плаваю, –
дед его, безумный, страшный Томеш
был сожжен в усадьбе под Полтавою.

Юность, предвоенная эпоха,
засоленные грунты и прочее...
Он писал стихи настолько плохо,
что уж лучше ставил бы отточия.

Из Москвы сбежал с чужой женою –
что ему, до беженства охочему!
(О жаре как вспомню, так заную, –
но жара бывала в радость отчиму).

Время шло, обрушилась невзгода,
или же сомнительное счастье:
доказалась принадлежность рода
к королевской, черт возьми, династии.

Так что получить в наш век железный
на погосте, выбранном заранее,
три аршина самой лучшей бездны
помогло дворянское собрание.

Словно щепку, ветер нас уносит,
а куда – про то никто не ведает.
Бог не выдаст, следовательно бросит,
так что и бояться их не следует.

* * *

Три кости брошены на каменную доску:
день прошлый, нынешний и будущий – и вот
сулит столешница и старцу, и подростку
надежду верную на смерть и на живот.

Отнюдь не астрагал, но кубик острогранный,
все шесть поверхностей, известных искони,
защищены судьбой, как грамотой охранной,
и нужно лишь понять, что говорят они.

Немецкому вину, мускату, романее
прозрения сего вовек не превозмочь,
предвестья трех костей едва ли не вернее
гаданья главного в рябиновую ночь.

И те, кто маялись, и те, кто развлекались,
задумчиво трясли стаканчики в руке,
и не простая зернь, но людус клерикалис
владела клетками на шахматной доске.

Здесь откровение опять на дне стакана,
народы втянуты в великую игру,
как в извержение бессонного вулкана
и как в невинную забаву на пиру.

Все согласовано со звездами на небе,
недолго знанию висеть на волоске:
игра окончена, поскольку выпал жребий
и кости прыгают уже в другой руке.

* * *

Здесь, под луной, город родной, тысячелиций.
Восемь колонн, и Аполлон на колеснице.

Явно продрог греческий бог здесь, на театре.
В эти года боль и нужда множатся на три.

Всё – на кону. Тянут ко дну жалость, усталость.
Всё – под замком. Черновиком жизнь оказалась.

Высох бокал, воду из скал нынче не выжать.
В странной стране выпало мне жить, чтобы выжить.

Бешеный шквал отбушевал, ливень отплакал.
На холоду кличет беду мрачный оракул.

Кончился спор, и приговор единодушен.
Ну, а взамен пусть Карфаген будет разрушен.

Ольге Кольцовой

Одно с другим несовместимо;
вода и масло – выйдет дрянь.
Меж временами же, вестимо,
миллениум поставил грань.

Дела, быть может, и неплохи,
да что поймешь по слепоте?
Сегодня два куска эпохи,
как два супруга апарте.

Парней интересуют парни,
у девок к девкам интерес,
не вечно булькать медоварне,
и невелик запас чудес.

Каков приход, таков и вычет,
и что снаружи, то внутри,
и кто молчит, а кто талдычит –
в толпе поди-ка разбери.

Не опознать, пристроясь рядом,
ни слово «да», ни слово «нет».
Грядущий век подполз искрадом
и дал один лишь интернет.

Что счастья нет – неверно в корне,
но нет кремней, и нет кресал,
нет той копейки, что для дворни
Державин вечно припасал.

С кем поведусь, кому достанусь,
кому вручу слова свои?
Трехликим стал двуликий Янус
в альтернативном бытии.

В грядущем толку мало, индо
пред ним трепещут лес и дол,
избави бог от вундеркинда,
который прется на престол.

Замнем, что стрижено, что брито,
разведываться толку нет,
и у разбитого корыта
сидят историк и поэт.



РУСЬ БЕЗНАЧАЛЬНАЯ
БАЛЛАДЫ

2015-2016

УВЕРТЮРА

Неизвестное место, неясная дата,
непонятная личность без точных примет,
тот, которого все позабыли когда-то,
тот, о ком документов и сведений нет.

Тот, кто канул в былое и сгинул во мраке,
кто навеки ушел неизвестно куда,
тот, кто каждый обычно, но все же не всякий,
и который нигде не оставил следа.

Тот, чей облик исчез меж намеков туманных,
тот, кто в нетях пропал и утратил черты,
тот, о ком никаких не имеется данных,
с кем не стоит на вы и неловко на ты.

Тот, на коего даже не выдана квота,
тот, кого как цунами, накрыли века,
и о ком нам сегодня известно всего-то
только то, что осталась его ДНК.

Незаложенный покойник и выморок лярвин,
в беспокойную ночь наведенный мираж,
чушь, которую некогда выдумал Дарвин,
но, однако же, предок, и вроде бы наш.

Кто сиротствует, право на имя утратив,
то ли выигрыш в кости иль просто в лото,
лишь один из пятнадцатияродных братьев,
то ли даже и вовсе неведомо кто.

Кем ты все-таки был, неизвестный прапрадед?
С кем ты жил и кого повидал на веку?
Даже вечность с тобою, похоже, не сладит,
если я о тебе напишу хоть строку.

Нарекли тебя как-нибудь матушка с батей,
вот и жил ты, в безвестную даль уносим,
то ли Влас, то ли Гурий, а то и Кондратий,
то ли некий Потап, то ли некий Максим.

Родословных твоих за века не облазим:
да и надо ли рыться в твоей-то судьбе:
то ли сволочью был, то ли числился князем,
то ли то и другое мешалось в тебе?

Может, имени-отчества вовсе не дали,
чтоб не ведал про мать и забыл об отце?
Мы-то знаем, что всё, что бывает вначале,
не всегда интересно тому, что в конце.

Монумент не всегда и не каждым заслужен,
где заслуга, что выпита чаша до дна?
Тот, кто вовсе никто – поколениям не нужен,
ну, а если хоть кто-то – к чему имена?

Беспощадно звенит о монетку монетка.
Кто бессмертия просит – едва ли умен,
и представить непросто далекого предка,
уносимого темной рекою времен.

ПЕТР ФРЯЗИН.
СПАССКАЯ БАШНЯ. КОНЕЦ СВЕТА. 1492

Вольно истории переставлять фигурки!
Вольно считать людей за липких лягушат!
В Константинополе хозяйничают турки,
зато в Испании Гранаду потрошат.

Такой вот странный год: ужель Земля – сфероид?
Тому не верили, а вот выходит – зря:
не ждали, что Колумб хоть что-нибудь откроет,
но ждали Страшный Суд к началу сентября.

Коль дикость на Москве – возьми да одомашни.
Великие князья не сгубят твой талант,
Солари-Фрязинец, строитель Спасской башни:
выходит, что прочал тебя Медиолан.

Со скрипом движется безумная эпоха,
при Сфорцах город стал что воровской притон.
Немало из того, что там лежало плохо,
в Московию с собой увез архитектор.

Испания – кипит и спереди и сзади,
евреев из страны старательно изгнав.
Любой еврейский нос еврею Торквемаде
нахально говорит, что он не скандинав.

Уж лучше б взятки брал, чем вкаты вероломно:
он в каждую башку забраться норовит.
Через Атлантику перебираться стремно,
зато к Пасифике стремится москвит.

И кряжистой Москва, да и куда курносей,
однако сплетнями язык не натруди.
Звездицы здесь кует и диски Амвросий,
такого мастера еще поди найди.

Лишь не наткнуться бы и тут на живодерца,
в Москве архитектор не сможет лечь на дно.
От юной гадины, Джангалеаццо Сфорца,
удрапать довелось не так-то и давно.

О Красной площади не стоит волноваться,
в срок не уложишься, так разве что побьют.
Пусть мастер изменил стране Джангалеаццо,
страна Василия ему дала приют.

Здесь лавр не вырастет, не даст плодов олива,
и ночи здесь длинные, и холодна земля:
увидеть потому, пожалуй, справедливо
недалний Страшный Суд во торжестве Кремля.

Да, смертный приговор положен за измену:
но исполнение, глядишь, перенесут:
посмотрят всадники с небес на Ойкумену
и на семь тысяч лет отложат Страшный Суд.

КНЯЗЬ СЕМЕН КУРЬСКИЙ. 1499

Россию холодом пугать – что девку парнем!
...Река для воинства надежнее дорог.
Где место выбрано – дымиться кашеварням
и спорым розмыслам сооружать острог.

Попробуй хоть на миг не думать о наказе,
но князю видится, что здесь, у озерца,
завяжется клубок величия и мрази,
тщеты и святости, начала и конца.

Однако что за прок загадывать загадки?
Москве ни до чего печали никакой:
ей важно, что песец и соболь тут в достатке,
власатый элефант и бегемот морской.

Умолкли топоры, все, стало быть, готово,
не важно – сколько рук, а важно мастерство.
Внушительен острог у озера Пустого:
уж выберет Москва – зачем и для чего.

В резонах княжеских не разберешься толком,
клепай, что говорят, на все один ответ:
столицей сделают, объявят ли поселком,
но город выстоит четыре сотни лет.

Отсюда полетит великая крамола,
что писано пером – то прогремит, как гром.
Однако ж и страна! Еще и нет раскола,
но тень грядущая маячит над костром.

Ну ладно, в будущем не смыслим ни бельмеса.
Что мы построили? Больницу ли, тюрьму?
А глянуть в прошлое – там черная завеса,
и глупо пялиться в дымящуюся тьму.

Потеря имени – печальная утрата,
и сколько почестей и лавров ни стяжай,
прославишься не ты, а внук родного брата,
известный князь Андрей, сваливший за Можай.

Острог среди снегов стоит холодной стенью, –
хоть ужас будущий родиться не готов,
но край приговорен к святому запустенью,
в высоких пламенах сгорающих скитов.

Одни лишь звезды здесь, и нет другого света,
Печора вечности меж пальцами течет;
и слышен тихий треск, и каждый знает: это
Господня лестовка заканчивает счет.



ХОЗЯ КОКОС. ДИПЛОМАТ. 1501

Задом по судьбе не проелозя,
не отыщешь в оной перекос.
В Кафе жил благорассудный Хозя,
дипломат по прозвищу Кокос.

В этом факте – никаких диковин,
никаких невероятных благ.
То ли персонаж наш был жидовин,
то ли караим, не то крымчак.

Над Бахчисараем гордо взреяв,
в неспешной череде годов
славилась династия Гиреев
тем, что опиралась на жидов.

Хозя был не то чтобы проныра,
но его татарские хрычи
знали от Бельбека до Салгира
и от Тарханкута до Керчи.

В династическом бреде плутая,
не желая помереть никак,
все вокруг ордушка Золотая
превратила в форменный бардак.

Пребывала публика в тревоге,
о пощаде Господа моля
от феодосийской синагоги
до соборов древнего Кремля.

Даже и престол со страху бросив,
хан обязан соблюсти закон.
Хозя был, понятно, не Иосиф,
но и хан – отнюдь не фараон.

Кто тут патриот и кто изменник?
Кто тут первым будет, кто вторым?
При посредстве венецийских денег
пригласить Москву придется в Крым.

Хан в Бахчисарае независим,
но в Москву, коль ты в своем уме,
не пиши древнееврейских писем,
в этих буквах там ни бе, ни ме.

Впрочем, дипломат не унывает,
он сумеет не попасть в полон.
На него всемерно уповаает
город Кафа, новый Вавилон.

Взятку не давай, руки не вымыв,
и могилу никому не рой:
на жидов и прочих караимов
не попрется Баязет Второй.

И менять не стоит хрен на редьку,
ставить лыко всякое в строку:
ну и спас ты Курицына Федьку,
ну и чем поможешь дураку?

То, что жулик ты – известно точно,
воробей, а все-таки орел!
Чудо дипломатии челночной
уж не ты ли, Хозя, изобрел?

Хан и князь доделали работу,
через очень краткие года
превратилась в золотую роту
золотая древняя орда.

Что там прежде, нынче или после?
Кто герой, кого попрут взашей?
И благословляет не Кокос ли
каждого из крымских торгашей?

Ни мацы, ни манны, ни амброзий
не найдешь, кусая чебурек.
И печально только то, что с Хозей
расплевались московит и грек.

Вечность о престиже не хлопочет,
и не поспешает никуда,
потому как Крым и знать не хочет,
кто на нем пасет свои стада.



ИВАН ТЕЛЕПНЕВ-ОВЧИНА-ОБОЛЕНСКИЙ.
1539

Не помнит чина русская пучина.
Россию очень трудно удивить;
ты истинный мужчина, князь Овчина,
за то тебя и надо отравить.

Ты хай теперь не затевай вселенский!
Ты попросту попался, как болван,
князь Телепнев-Овчина-Оболенский
с довольно редким именем Иван.

И повара страшишь, и хлебореца,
и это хуже встречи с палачом:
сиди теперь, закованный в железа,
и жди отравы неизвестно в чем.

О том обычно говорить неловко,
по-своему любой мужчина слаб:
зачем тебе прекрасная литовка, –
иль мало на Руси цветущих баб?

Цветут они в России повсеместно,
в которую ни загляни дыру.
Понятно, переспать с царицей лестно, –
а ну как не проснешься поутру?

Иль совладать не смог с мужскою сутью?
Как раз об этом лучше не бреши.
Царица в бане надышалась ртутью,
а ты теперь хоть вовсе не дыши.

Об этом неприятно думать на ночь,
но говорит народное чутье,
что сын есть у тебя – Иван Иваныч,
а что Иван Васильевич – вранье.

На свете есть ли большая отрада,
чем слушать «Со святыми упокой»?
Россия знает только смерть от яда,
и более не знает никакой.

Из муромцев, козельцев, ярославлян
за все века никто не дал ответ:
хоть кто-то хоть когда-то не отравлен –
а просто умер в девяносто лет?

Сидят на ядах ангелы и черти,
отравлены ерши и караси,
и только вариант голодной смерти
от яда избавляет на Руси.

Не утолится голод людоедский,
и выпивки не хватит в кабаке,
а гибель ваша – просто праздник детский,
в сравненьи с тем, что будет при сынке.



КНЯЗЬ АНДРЕЙ ШУЙСКИЙ ЧЕСТОКОЛ. 1543

Чванство в России – великая сила,
но не на каждом уместно пути;
зря полагаешь, мол, от Феофила
чирей на заднице может спасти.

Ни от кого не укроешь измены,
нечего плакать, скулить и страшать;
зря полагаешь ты, что у Елены
есть настроенье кого-то прощать.

Ты ль не знаток политических ягод,
ты ль не игрок, и не ты ль потому
славой взлетал то на месяц, то на год,
и регулярно садился в тюрьму.

Можешь ли нынче уверить кого-то,
что не особо ты ценный трофей, –
прячься не прячься, а палкой в ворота
громко стучится монах Досифей.

Разве царице потребна причина?
С Глинской не справишься, как ни хитри.
В тот же мешок, где загнетса Овчина,
сядь-ка, болезный, на годика три.

Налиты злобой, потянутся тяжко,
годы в темнице, впустую, зазря;
сдохнет царица, а следом Ивашка,
но не учтешь ты мальчишку царя.

Жизнь и свободу наверстывай в спешке,
даже и разум последний похерь.
Пешки как шашки, а шашки как пешки
ходят по доскам игральным теперь.

Рвись к опекунству, хамя и дерзая,
думай, что долгой окажется жисть, –
но изготовилось свора борзая,
чтобы тебя по команде загрызть.

Пламя никто не удержит в щепотях,
злое чванство – поди усмири;
будешь валяться в кремлевских воротех,
взяша тебя и убиша псари.

Степь ледяная окрасилась в сурик,
черная кровь закипела в котле;
княжит Иван или царствует Рюрик –
бедной давно безразлично земле.

Сон прибывает, пурга завывает,
век наступающий гол как сокол, –
и еженощно палач забивает
в гроб Честокола осиновый кол.

ПРОТОПОП СИЛЬВЕСТР. 1560

Лапшу и котлому готовит Домострой,
ориентируясь на правила реестра,
расписывает пост и ладит пир горой
возвышенная мысль священника Сильвестра.

При этом знать дает, сколь неполезна дурь,
что тело требует, а что угодно Богу,
народу черному твердит рецепты тюрь
и собирать велит крапиву на вологу.

Хоть древен сей закон, зато для всех людей,
в нем важно правило, заметим мимоходом,
на стол бы меньше двух не ставить лебедей
и по два сухаря оставить нищесбордам.

Священник списком яств потомству насолил,
чревоугодия не ведавший по жизни,
при том, что в пятницы зело благоволил
ко штям из лебеды, грибам и головизне.

Он лишь предписывал заботу и уход,
чтоб не пустела клеть и наполнялся улей,
чтоб сад плодоносил, сверкая что ни год
можайским яблоком и драгоценной дулей.

Ничто не кончилось – не кончится и впредь,
подумай, рассуди в терпении смиренном –
удержат на плаву, дадут не помереть
капуста, огурцы, горох и редька с хреном.

Да хрена ли роптать? Смотри, дружок, не спать,
что пост, что мясоед – и то, и то неплохо.
Там, где растет горох – он вырастет опять,
так в мире повелось со дней царя Гороха.

НАСТАВЛЕНИЕ АНФИМУ. 1565

Павлину, журавлю, птенцу струфокамила
дано бокалом плыть на царское застолье.
Давно доказано: что дорого, то мило,
а что наоборот – доказано тем боле.

Анфим, тебе велю хлебать простую калью,
лебяжье крылышко обглаживать в сторонке
и родичам отнюдь не досаждать печалью
о том, что в прошлый пир пропали две солонки.

Коль отобедали, Анфим, избу проветри,
гостей не уличай во многих злополучьях,
зане обожрались любители осетрий
в шафранном соусе, а также ксеней щучьих.

В людскую отошли богату кулебяку,
им трапезу подай и радостну, и сочну,
а восходить к жене в ночь можешь не во всяку,
лишь в понедельничну, равно и в четверточну.

Поварню соблюдай во неизменном благе,
не то содеются в единый день поганы
братины, мерники, чумички и корчаги,
корцы, ставцы, ковши, извары и кумганы.

Коль нечто укупил, то в торге будь смиренек,
и с лютым должником не обращайся злостно,
но привечай его, и дожидайся денег,
как светлых праздников мы ждем великопостно.

Но ежели, Анфим, ты не мудрее бревен,
и разорить себя позволишь, как разиню –
то, значит, грешен ты, и потому виновен.
А дальше думай сам; я ж ныне зааминю.

ГЕНРИХ ШТАДЕН. ОПРИЧНИК. 1572

Императору в Прагу, секретно и лично.
Пресветлейший венгерский и чешский король!
Много лет я сражался за войско опрично,
и теперь отчитаться об этом позволь.

Но прошу мою просьбу не счесть за причуду,
о письме не рассказывать впредь никогда:
у великого князя шпионы повсюду,
коль прочтут они это, случится беда.

Я проник в государство, покрытое мраком,
основательно рылся по всем тайникам.
Чем отдать этот край мусульманским собакам,
так уж лучше прибрать его к нашим рукам.

На страну эту выдвинуть войско непросто,
ибо здешние очень коварны места:
хоть живет московит, как собака бесхвоста –
но имеет рогатину вместо хвоста.

Нужно двести баркасов и двести орудий,
и еще десять тысяч по десять солдат –
и сдадутся немедленно здешние люди,
и Европу немедля возблагодарят.

Состраданье сколь можно подалее спрятав,
надо твердо идти на Москву напрямки,
там казнить и князей, и других аманатов,
и развесить на сучьях вдоль Волги-реки.

В отдаленную местность покуда не лазя,
не идти на Казань, не соваться в Сибирь;
но поспешно, поймавши великого князя,
сделать графом и сразу спихнуть в монастырь.

...Здесь ученость подобна бесплодной пустыне,
здесь не читан ни Ветхий, ни Новый завет;
здесь не знают по-гречески, ни по латыни,
по-еврейски и вовсе понятия нет.

Я описывать жуликов здешних не стану,
каждый мытарь чинит превеликий разор,
но никто не противится князю Ивану
от которого Курбский свалил за бугор.

Чуть не так – под секиру главу ты положишь,
право древнее в этой стране таково:
если грабить не хочешь ты или не можешь,
то убьют и ограбят тебя самого.

Право, в мире земли не сыскать непотребней,
пребывает в великой печали страна;
здесь пусты погреба, и поварни, и хлебни,
ибо в них не везут ни вина, ни зерна.

Слишком много здесь рабской и подлой породы,
но как только повергнем сей тягостный гнет,
богомерзкую схизму в короткие годы
европейская вера за пояс заткнет.

Чтоб Европе не ведать великого срама,
я советником быть добровольно берусь,
и покуда никто здесь не принял ислама,
надо срочно спасти эту бедную Русь.

Император, ты знаешь, сколь благодостны войны!
Припадает к стопам твоим в горькой тоске
прозябающий в бедности аз недостойный.
Дальше подпись, число и сургуч на шнулке.

ЯКОБ УЛЬФЕЛЬДТ. 1578

Ну и холод же в этой стране окаянский!
Европейцу такое – ложись-помирай!
Мы, похоже, прогневали Хольгера Данске,
что притопали в сей отмороженный край.

Здешний царь – это очень серьезная птица,
мы намучились только, и ездили зря:
с нами землями Русь не желает делиться,
невозможно в обратном уверить царя.

Никого не женив, никого не просватав,
уезжаем, за это себя не казня,
но уж если не слушают здесь дипломатов,
то придется Европе послушать меня.

Здесь ничто завершиться не может удачей,
здесь послов и торговцев берут на измор,
а когда говорить начинает подьячий –
то похож на шипенье его разговор.

Тут царю ни к чему ни жена, ни царевна,
перед ним вся держава повержена ниц;
здесь ликует народ, ибо царь ежедневно
по традиции портит по сорок девиц.

Да, Россия Европой изучена худо;
без записок моих там не ведали бы,
что народ здесь не пашет, не доит верблюда,
но столетьями сушит и солит грибы.

Здесь бывает порой, что трясешься со страха:
кабана повстречав или дикого пса;
говорят, что в лесах здесь живет россомаха,
потому не ходили мы в эти леса.

Стерлядь – лучшая рыба, но прочих дороже;
в реках много белуг и вкуснейших акул,
там лосось, и минога, и прочие тоже,
всех не помню, которых я там навернул,

Там различные водки наместо обедов;
на закуску морковь да капусты кочан.
Убивают в России всех более – шведов,
но при случае могут убить и датчан.

Если надо – то все там и слепы и глухи,
так что есть чем заполнить и ночи и дни;
многочисленны там и недороги шлюхи,
ну, а главное – очень красивы они.

Помолчу, сколь жестоки российские рати, –
не надеюсь, но просто уверен порой,
что меня за отчет о российском разврате
наградит их величество Фридрих Второй.

Не лечился я в прежние годы ни разу,
но теперь, полагаю, пора отдохнуть,
чтоб на эту Россию, на эту заразу,
ощетинилась вся королевская ртуть.



ЭЛИЗИУС БОМЕЛИЙ. 1579

Отнюдь не знахарю, что хочет только денег,
не лекарю, что мнит бесценным опыт свой,
я посвящаю жизнь: порукой в том дербенник,
поименованный людьми плакун-травой.

Болезней имена немислимы для слуха,
как старые глаза, слова слезоточат:
чудовищен столбняк и тяжела желтуха,
и чуть не хуже всех – мучительный камчат.

Расперстица, рватва, надута в сердце жаба,
иные признаки болячек и туги:
заушница, окорм, водянка и расслаба,
нутрец, падучая и тяжкий дух цинги.

Весь обратись во слух, гляди пристрастно в оба;
свои познания как бы смешай в горсти:
на все отыщется лекарство и лечоба,
коль не поленишься аптеку запасти.

Запомни список трав отнюдь не для забавы,
напротив, следуя науке непростой,
ты сыщешь для всего целительные травы,
на коих сделаешь декокт или настой.

Полны что лес, что луг разнообразных зелий,
сведи, чтоб твой больной от должного вкусил:
корень марьино толки с молитвой велей,
булгасову траву, осот и девясил.

Забудь потворствовать солдатам и купчинам,
к которым близок тать, крадущийся в ночи,
их помещай в катух над паром чепучинным
и жаркой банею томящихся лечи.

Ползучей немочи отнюдь не будь потатчик,
горчишники лепить не почитай за труд:
не смей пренебрегать взрезанием болячек,
кровобросанием и алчностью гируд.

Но только помни – смерть, она с тобою рядом.
царь нынче, что ни день, заказывает яд;
и тут уж все равно – кого ты травишь ядом,
иль сам готов принять, иль принял час назад.

Царь гостогонствует, и он не чужд веселий,
задуть любую жизнь он волен как свечу;
а виноват ли тот Элизиус Бомелий,
то вовсе не врачу решать, а палачу.

В том сумрачном краю, где властвует косая,
где память брошена в темницу тишины,
слова, лишь изредка печально воскресая,
спать в подземелиях веков обречены.

Заботиться ль о том, чтоб вовсе не истлели?
Кому они нужны? царю? и то – навряд.
Уйдет в небытие, что было в самом деле,
останется лишь то, что люди сочинят.

Последней милостью судьба не осенила,
единой глоткою ревет народ как зверь,
и все дописано, и высохли чернила,
и обух бердыша высаживает дверь.



ДЖЕРОМ ГОРСЕЙ. 1584

Эфиопский владыка, зовущийся негус,
или кесарь российский, известный тиран,
одинокой дорогой на ветхих *tilegos*
удаляются в темень, в туман и буран.

В мемуарах ревниво хранятся улики:
в томе лжи есть и правды хоть несколько слов.
Царь московский и прочий, *соуколд char' veliki*,
у себя принимает английских послов.

К нраву царскому с явным усиьем приладеясь,
даже малый поклон почитая за труд,
за тяжелую дверь, в государеву кладезь
два Джерома без лодки неспешно плывут.

Царь плывет впереди, сразу следом – *charowich*,
богомolec, наследник царева жезла;
допускать ли бояр к созерцанью сокровищ,
царь не знает, – однако допустит посла.

Может, старость, а может, и просто чахотка
разморила царя, и блюдет караул,
чтобы слуги его аккуратно и кротко
опустили теперь возле ряда шкатул.

Пусть Европа ответит на эдакий вызов,
всё расскажут послы, как вернутся назад;
ухмыляется деспот над горстью туркизов,
между пальцев держа дорогой заберзат.

Что ни камень, то слюнки восторженных судий,
царь не зря попирает наследственный трон,
сундуками – тумпаз, августит и нефрудий,
антавент, и белир, и прозрачный тиран.

Здесь не властен ни сглаз колдуна-домочадца,
ни возможность подохнуть в угаре хмельном,
только здесь и решается царь утешаться
корольком, калайгом, бурмицким зерном.

И хорошего вам, господа, понемножку,
полагается помнить про здешний устав.
Царь, ни слова не бросив послам на дорожку,
rochivated желает, смертельно устав.

За серебряный рубль расплатиться полушкой –
таковое любому в Москве по уму.
Говорят, что царя удушили подушкой,
только это не важно уже никому.

Век уходит за веком, сомнения сея,
сколько было их в мире, так все и прошли.
Огорченно твердят мемуары Горсея
про великую славу русской земли.

Не крестись, если в доме не видишь иконы,
о величии собственном лучше не лги:
кто в Москве побывал, тот запомнил законы
подступившей к границам Европы тайги.

Лбом о стену стучать – небольшое геройство.
Катастрофа ли это? Нет, просто беда –
тут страна не страна, а сплошное расстройство,
и поэтому лучше не ездить сюда.



ДЖАЙЛС ФЛЕТЧЕР. 1588

Все никак не развалится эта страна,
непонятная сила у здешних молений.
Европейскому взору с границы видна
беспроторица нищих российских селений.

Что ни шаг – то погост, за погостом – шинок,
весь народ состоит из одних голодранцев,
да к тому же любой обожает чеснок –
в этом смысле они даже хуже голландцев.

Царь не ведает вовсе державственных бразд,
ибо робок и, видимо, разумом скуден,
но однако же съест за обедом горазд
горы грубой еды из немытых посудин.

Как нажрется, уходит поспать на печи,
гости громко храпят, ну, а слуги притихнут.
Смотрят сны среди белого дня москвичи,
воеводы, конюшие, нищие дрыхнут.

Колгота потасовок, трактирная грязь,
ничего я на свете не видел отвратней –
в драку рвется холоп, а, бывает, и князь,
поневоле пред этим застынешь в замятне.

Бородат и пузат каждый русский мужик;
превращается в пьянку любое застолье,
носит каждая баба нестиранный шлык,
молью трачены грязные шубы собольи.

Одеянья у русских отвратно просты –
армяки, зипуны, кебеняки, тулупы,
емурулки, котыги, срачицы, порты,
однорядки, охабни, кафтаны и юпы.

И посуда у варваров тоже своя:
чарка, чашка, и тысячи всяческих скляниц;
полумисье, братина, горшок, сулея,
воронок, ендова, мушерма, достоканец.

Пекаря выпекают, искусством гордясь,
много гадостей сунув в начинку для смаку,
курник, луковник, сочень, бараний карась,
каравай, перепечу, калач, кулебяку.

Эти факты увидеть возможность дают,
сколь огромна жестокость и мерзость повсюду,
а про здешний содомский чудовищный блуд
я рассказывать лучше и вовсе не буду.

Оправдания не вижу малейшего я
порожденьям болотного дыма и смрада.
Приобрести уваженье лихого ворья
невозможно, так вот и стараться не надо.

Вожделениям гнусным отдавшись во власть,
смотрит Русь на Европу, шипя ядовито;
лучше с камнем на шее в колодец упасть,
чем увидеть в Париже сапог московита.

Я не в силах поверить письму своему,
но, однако, надеяться все-таки вправе,
что растает в грядущем и канет во тьму
даже память об этой ужасной державе.



КНЯЗЬ АФАНАСИЙ НАГОЙ. 1591

Ну что, опять переходить на мат?
Зачем потомки наши столь сердиты?
Он был всего лишь скромный дипломат
с фамилией в манере Афродиты.

Без лести предан, на расправу быстр,
когда угробить повелят смутьяна:
такой вот замечательный министр,
при Грозном – нечто вроде Микояна.

Шесть лет он, как погонщик при осле,
торчал в послах при хане грубоватом,
и потому в тюрьме, в Мангуп-Кале,
он очутился в шестьдесят девятом.

Послу на киче припухать – беда!
Любой из ханов хочет слопать брата.
Идет в Бахчисарае чехарда,
в которой нынче нам не разобраться.

Плевать бы на подобную бузу,
но все-таки удачи не просците:
и поменяли князя на мурзу:
они в Москве отнюдь не в дефиците.

Что Крыму лишний рот и лишний гой?
Спокойней быть подале от раздрая.
И снова дипломатом стал Нагой,
опричник при дворе Бахчисарая.

Держи, боярин, по ветру ноздрю!
Густеет над Россией истерия:
Вконец осатаневшему царю
понравилась племянница Мария.

Пустили в кухню – ну, давай кухарь.
Басманову подобное не снилось.
Оно неплохо, только помер царь,
и наш вельможа угодил в немилость.

Что только не случается в Москве.
Легко ли верить врачам очевидца?
Помстилось чей-то дурьей голове,
что сын седьмой жены в цари годится.

Коль скоро ты живешь в России, друг,
учись нигде не знаемым наукам:
коль скоро брату Дмитрий – это внук,
то числиться Лжедмитрию лжевнуком.

О том мерзавце тоже нужен сказ,
история уже совсем другая:
как самозванца в недостойный час
признает даже мать его Нагая.

Как глупо не по собственной вине
остаться персонажем анекдота:
и в Ярославле спать на топчане.
у бесполезной склянки антидота.

Что ж, не дразни гусей, не зли волков
и попрощайся с жизнью мимолетной,
ты, главный из числа временщиков,
фамилии не больно-то почетной.

Выходит, больше драться не с руки,
не угодить бы в чан кипящей серы,
да и не зря же грабли коротки
или отбиты, будто у Венеры.

Кто потонул во глубине времен,
не лезет пусть на стогна и на гумна;
конечно был ты, батенька, умен,
да вот была судьба неостроумна.

Пусть жизнь ушла – но с ней ушла беда.
Не вспомнить всех, кто жил во время оно.
Спокойно спи до Страшного Суда,
в пустыне той, где нет ни скорпиона.



ФИЛАРЕТ В СИЙСКОМ МОНАСТЫРЕ. 1601

На Сийском озере, в неслыханной глуши,
от стен монастыря тропа ведет полого,
к воде, где окуни, да мелкие ерши,
да щука старая, да тощая сорога.

Подлещик на уху то ловится, то нет...
Здесь, в ссылке горестной, в томлении несытом
пустынничает мних, зовомый Филарет;
еще не скоро стать ему митрополитом.

Цепочка тянется однообразных дней,
пусть мнится здешний край кому-то полной чашей,
но макса сладкая северодвинских мней
не предназначена для трапезы монашьей.

На бесполезный гнев на надо тратить сил,
но к Белоозеру душа стремится снова,
куда любимый сын, младенец Михаил,
отослан волею иуды Годунова.

Никто изгнаннику не шлет вестей в тюрьму,
не умалился страх, а только пуще вырос,
и мних в отчаянье: приказано ему
ни с кем не говорить при выходе на клирос.

Терзают инока мучительные сны,
не по нему клубок и подвиг безысходный,
ночами долгими у Северной Двины
он грезой мучится, бесплодной и голодной.

Пусть бают что хотят, предание свежо,
уместно обождать во кротости великой –
лишь Годунов помрет, он на Москву уже
царем заявится или другим владыкой,

чтоб скоро возгласить, избавясь от врагов:
мечите-ка на стол – да ничего не стырьте! –
просольну семжину, белужину, сигов,
прут белорыбицы да схаб печорской сырти.

Тельное лодужно извольте принести,
шевружину еще, капусту в постном соке,
икру арменскую и дорогие шти,
уху, учинену со яйцы да молоки.

...Такие пустяки нейдут из головы!
Грядущее темно, и тяжелы вериги.
Ужели не дойти от Сии до Москвы?
Да только на Руси царем не быть расстриге.

Кто знает, что судьба еще преподнесет?
Пусть мерзостна скуфья, невыносима ряса,
но надобно терпеть сие за годом год
и все же своего сумеь дожждаться часа.

Пусть бесится осман, – не страшен он ничуть,
пусть ляхи точат зуб да ждут жиды мессию,
лишь ни в который век на непрохожий путь
не надо направлять ни Сию, ни Россию.

Нет осуждения монашеским трудам,
а патриарший жезл сойдет и за дубинку,
и в тот великий час рабам и господам
тьень Грозного еще покажется в овчинку.

Ты как там, Годунов? Здоров иль вовсе плох?
Но сколь ни царствуешь, ты не поймешь при этом,
что царь в России – Бог, но он не просто Бог:
в России – Бог с людьми, а люди – с Филаретом.

ДИМИТРИЙ КЕСАРЬ. 1606

Царю нехорошо: хоть был здоров напередни,
но про его судьбу смотреть не надо в сонник –
посмотрит на Москву, доест обед последний
и вскорости помрет, поскольку гипертоник.

И очень вовремя дворянчик захудалый
из Чудова сбежал в гостеприимный Муром,
в Речь Посполитую, где с наглостью немалой
назвался Дмитрием, понравясь польским дурам.

Он был не то Богдан, не то скорей Георгий,
в монахи стриженный под именем Григорий,
он ляхам расточал толь многие восторги,
что скоро сделался у них в большом фаворе.

Чудесно излечась от наведенных корчей,
предерзостно удрав от гнева Годунова,
восстал из гроба он, князей сильней и зорче,
и задницей взалкал сиделища родного.

Князь Ковельский Андрей подох бы от завидок,
прознав его судьбу, иль хохотал до колик –
столь был невзрачен тот и в целом статью жидок,
короче, просто вор, к тому же и католик.

Столь быстро он взлетел, что и представить жутко,
жолнеры думали: вот мы в Россию катим!
Тень Грозного его сочла бы за ублюдка,
но Мнишек объявил добротололюбным зятем.

Бывало, поворот случался нехороший,
затея наглая едва не прогорела.
Жолнеры прочь ушли, не получивши грошей,
но выручил его прохвост Андрей Корела.

То драму зрил народ, то слушал оперетту,
Москву Димитрий съел с лапшой и потрохами,
но люд уверововал в инсценировку эту,
и воспевал царя не просто, а стихами.

Явился при дворе питомец русской лиры,
кольчугой защищен, молитвой ощетинен,
со тщаньем велием слагающий стихиры
Иван Андреевич, писатель Хворостинин.

Ощерилась страна грядущими гробами,
кто хорохорился, кто помирал со страху,
и даже Федор Конь не шевелил губами,
страдания и слез сдержати не можаху.

...Что, жрешь телятину, не спишь после обеда?
Ты тайный сын царя? Ишь, подобрал папаню!
Какой ты, к ляду, царь! Ты хуже людоеда!
Не ходишь в баню ты, так вот иди ты в баню!

Златá распалась чепь, не стоит распалаться,
борьба убогая всем сторонам обрыдла,
и более нема надежды на поляца,
и пепел с порохом уже смешало быдло.

...Василий, плохо врешь, хотя бы сопли вытри!
Не признан шведом ты и не обласкан Портой.
Поляки требуют, чтоб стал царем Димитрий,
хоть первый, хоть второй, хоть третий, хоть четвертый.

Бузит царевич Петр с Болотниковым купно,
за подкреплением гонца ко Мнишкам выслав,
но не возьмут Москву, что стала неприступна,
ни ирод Шаховской, ни Ваза, что Владислав.

И новый вор грядет из града Стародуба,
во Пскове тоже свой, и в Астрахани тоже,
Климентий и Мартын – любого душегуба
в Москву на русский трон влечет, помилуй Боже...

Зови загонщиков, устраивай облаву,
а хочешь – зал готовь для куртуазных танцев.
Всего-то за шесть лет российскую державу
пыталось оседлать семнадцать самозванцев.

Но суд потомков строг, и ропщут ребятишки,
по первое число в известной драме выдав
Гавриле Пушкину, сокольничему Гришки
(царю, носившему фамилию Нелидов).

Сгорела кизяком несбывшаяся слава,
хула взаимная – российское богатство.
...Лишь некий иерей, на то присвоив право,
включил Григория в чины анафематства.



ЛЖЕДИМИТРИЙ XVIII

В России – каждый царь, хоть грузчик, хоть крестьянин,
лишь ценами на спирт народы не взбеси.
Однако не забудь, насколько постоянен
закон семнадцати, всеобщий для Руси.

Ни горького стыда, ни легкого румянца
из-за того, что жизнь бессмысленно прошла:
однако не стоит страна без самозванца,
он – суть истории, он – корень для ствола.

Пять Лжедмитриев, царевич Петр, Лаврентий,
Осинник, Симеон, Савелий да Иван –
Ерошка, Гавриил, Василий, да Климентий,
да Федор, да Мартын: немалый караван!

Игру в солдатики или в цари затеяв,
подумай сотню раз: а стоит ли свечей?
Казнили наскоро семнадцать прохиндеев,
но восемнадцатый сбежал от палачей.

Кто был сей хитрый тип? Старик иль парень юный?
Едва ли труженик, скорее феодал,
Димитрий липовый, обласканный фортуной,
который имени векам не передал.

Кто мылится на трон, готов пойти вприсядку,
а у него во всем бубновый интерес.
Поди поймай его намыленную пятку –
узнаешь только то, что он не Ахиллес.

Настырный ли диббук, анчутка ли беспятый,
незримой нежити пахан и голова,
безвсякий Яков он, – положим, тридцать пятый, –
или седьмой Иван, не помнящий родства.

Он на судьбу вовек не станет зубом клацать,
к чему грустить о ней, – ему и горя нет,
хотя уже давно три раза по семнадцать
прошло с семнадцати его далеких лет.

Способность ускользать переросла в привычку,
он самозванствует, и потому упрям.
Другому власть нужна, а он берет наличку,
и в этом фору даст семнадцати царям.

Ну, помахал жезлом, засунь обратно в ранец, –
в восторге публика – а ты не виноват.
Ай, самозванец наш: виват тебе, поганец.
Виват, империя, семнадцать раз виват!



СТАНИСЛАВ НЕМОЕВСКИЙ. 1606

Уж если знаться с кодлой азиатской,
к чему, войдя в горнило, рваться в драку?
И что, помимо грубости схизматской,
возможно ждать от варваров поляку?

Но королю едва ли кто советчик,
из тех, кто не спешит в дубовый ящик;
и должен шляхтич, точно смерд-браслетчик,
понять, что он – не боле чем алмазчик.

Увы, всегда в законах есть лазейки;
вот из-за них я сделался, представьте,
хранителем немалой гамалейки
бурмицких зерен, сардов, перелявтей.

Такой случился поворот нежданный
поскольку прикупить решили русы
сафиры свейской королевы Анны,
и таусины все, и балангусы.

Рус против ляха – невелика шишка;
при этом сделку все же да не сглазим;
однако зять ясновельможна Мнишка
не показался мне великим князем.

Пишу затем, что возвестить обязан
и ныне безусловно подтверждаю:
неблаголепно тот миропомазан,
кто нарушает заповедь седьмую.

В перечисленьях очень буду краток.
Я на столе царя богатство видел
горзалонок скверных и протухших паток,
худых медов да и дурных повидел.

Сплошная пьянка в этом царстве лживом,
лакать барду, так нет другой заботы,
и мед плохой мешать с отвратным пивом –
у них в обычай, а не ради рвоты.

А чем тут кормят – молвить неприлично,
о сем могу поведать лишь изустно,
тут подали на свадьбе, как обычно,
тринадцать блюд, да только всё невкусно.

Готовят хуже, чем магометане, –
у здешних брань на вороту не виснет, –
ягнятину, тушеную в сметане!
Но и сметана вся в России киснет.

И так во всем: на суп идет крапива,
из падали состряпано жаркое,
не ставят квас, недоливают пиво,
ну нешто шляхтич вытерпит такое?

И царь подлец: нас по плечу похлопав,
сгреб камешки, не размышляя долго, –
да только вовсе распустил холопов,
и был зарублен, не вернувши долга.

Покойника судить я, впрочем, вправе ль?
Что уцелел я, это только к худу.
С кого теперь получит деньги Вавель?
Кому платить за битую посуду?

России лучше слушать безучастно,
что ей пристало тише быть, послушной,
и наконец понять, насколько прекрасно
ухаживать за польскою конюшной.

Короче, на России ставим точку:
вредна рабу малейшая свобода,
а то, что я посажен в одиночку –
что взять с неполноценного народа?



ГАНС БОРК. 1610*

От Борьки до Васьки, от Васьки до Гришки,
от Гришки до тушинских мест,
и к Ваське опять все на те же коврижки,
и все их никак не доест.

Где лен, где крапива, где хрен и где редька,
где хутор, а где и сельцо.
И все-то равно, что Мартынка, что Петька –
лишь бегай да гладь брюшенцо.

За глупых валахов, за мрачных ливонцев
за прочих вонючих козлов –
отсыплют поляки немало червонцев,
немало отрубят голов.

Коль рая не будет, не будет и ада,
нет друга, так нет и врага;
прибравши подарки, всего-то и надо
удариться снова в бега.

* У Шуйского был один немец по имени Ганс Борк, который некогда был взят в плен в Лифляндии. Его-то Шуйский и послал со 100 немецкими конниками под Брянск, а этот Борк прошлой зимой перешел от Шуйского в войско Димитрия в Калуге, но потом, оставив там на произвол судьбы своего поручителя, снова перебежал к Шуйскому, который за доставленные сведения пожаловал его ценными подарками; но у Шуйского он не долго задержался, а вторично перебежал к Димитрию второму, который воздал бы этому изменнику по заслугам, если бы его не упростили польские вельможи. Однако, не пробыв и года у Димитрия, он чуть было не переманил у него крепость Тулу (перед тем сдавшуюся Димитрию) и не передал ее Шуйскому, но, поняв, что его лукавые козни замечены, он убрался восвояси в Москву к Шуйскому, который опять с радостью принял его и, как и в первый раз, щедро одарил его за замышлявшуюся пакость в Туле. *Конрад Буссов.*

В Москве ли, в Калуге, в Можее ли, в Туле,
восторгом и рвением горя,
уверенно, строгость блюда, в карауле
стоять при останках царя.

Прыжки хороши и движения ловки,
но лезть не положено в бой;
вот так он и пляшет от Вовки до Вовки,
кружась, будто шар голубой.

При нем торжествует закон бутерброда,
скисает при нем молоко.
Он – двигатель вечный десятого рода,
как маятник деда Фуко.

Не действует яд на подонка крысиный,
тот яд для него – перекус,
и нет на земле ни единой осины,
что выдержит эдакий груз.

...Но облак вечерний закатом наохрен,
но тянет с востока теплом, –
а жизнь коротка, и пожалуй, что похрен,
гоняться за этим фуфлом.

КОНРАД БУССОВ. 1612

Наемник, ты облаян и охаян,
зато не думать можешь о судьбе:
кто лучше платит – тот и есть хозяин,
и жаловаться не на что тебе.

Россия больше Даний и Германий, –
и глупо, что у шведов царь Борис,
с такою мощью, против ожиданий,
Мариенбург и Нарву не отгрыз.

Подумал бы, владыка, на досуге!
Хозяйственно на дело посмотри!
Чем лучше платят, тем надежней слуги.
...Да только мрут московские цари.

В порфире Гришка, без кафтана Тришка,
за вором вор, и следом тоже вор.
Чесночная боярская отрыжка,
что в воздухе висит, как шестопер.

Орет народ с восторга и со страху,
а слушать, что орут – и смех и грех;
к кому-то там воззваху, называху, –
а что с того, коль все противу всех?

Без меры люд российский осчастливлен,
возрадовалась глупая Москва:
князь Шаховской опять надул путивлян
и вытащил царя из рукава.

И поделом башкам поляков дурьим;
узнать несложно корни по плодам –
их посадили в тридцать разных тюрем
по тридцати далеким городам.

Печально, Русь, смотреть на этот фарс твой,
не отводя глаза из-под руки:
хоть царствуй, хоть мытарствуй, хоть бочарствуй,
а все тебя растащат на клочки.

Жаль, если о тебе забудут книги,
и жаль, что путь ведет последний мой
от Тулы до Смоленска, и до Риги
и дальше, до Ганновера, домой.

Что уповать на старческую силу?
Рассказывать – не хватит жизни всей,
и жаль, что всё почти возьмет в могилу
вернувшийся наемный Одиссей.



ФЕДОТ КОТОВ. 1623

Россия, Персия, одна ебена мать.

Сергей Петров

Куда как долог путь по Волге до Персиды!
В Индею да в Урмуз, – за берегом новый брег, –
да вот еще купцу великие обиды
наносит бусорман: татарин да узбек.

Киюз, карамсарай, тропа до Ыспагани:
с верблюда каждого везде плати рахдар;
запоны разные, что учтены заране:
потерпим, только пусть не отберут товар.

Ведет безводный путь то в гору, то в долину;
доехать надобно с Дербени на Шаврань,
а там на Шемаху, – а угодишь к лезгину –
три киндяка с вьюка с поклоном притарань.

Зато за Шемахой есть земли плодovиты,
не только много там достойных овощей,
но тулунбасы есть, шелка и аксамиты –
и тысячи иных польzительных вещей.

А город Ыспагань садами весь обрамлен,
для всех один закон великим шахом дан, –
здесь множество жидов, армяньян и аврамлян
торгуют, поутру стекаясь на майдан.

По праздникам в сады лежит дорога шаха,
от жонок и робят аж звон стоит в ушах;
а кто не голосит – тому готова плаха,
зане на похвалы зело повадлив шах.

В мечетях абдалы нагуливают пузо,
а по ночам не спит ни турок, ни арап,
что в месяц рамазан, да и в часы навруза
пьют до утра чихирь и мнут дешевых баб.

Я множество чудес перевидал в Персиде,
да вот не до чудес московскому купцу,
нисколь не жалуясь, что днесь домой отыде,
и повесть подвести положено к концу.

Еще б рассказывал, да только ехать надо,
подробно говорить об этом смысла нет, –
боюсь, что в пятницу не выпустят из града:
здесь пятницу блюсти велел пророк Бахмет.

Как дальше поступать – мы разберемся сами;
но мысль особую имею в голове:
чем на Персиде быть верховным псом над псами,
то лучше просто быть собакой на Москве.

Что, дело тонкое – Восток для инородца?
Кто хочет знать ответ – тогда меня спроси:
и я на то скажу – где тонко, там и рвется,
а стало быть – меня заждались на Руси.



ЯКОВ ХРИПУНОВ. 1630

От бесконечных войн земля подустала;
пора бы отдохнуть стрельцам да пехтуре
и заплатить долги, но вовсе нет металла
в монетных мастерских на денежном дворе.

Кто знает, от кого и кто сие услышал,
старинная Москва на выдумки щедрa:
богато наградит того, кто рылом вышел,
Тунгусия, страна слонов и серебра.

Трофей богат зело, да порученье скользко.
Сколь велика Сибирь, где ты один, как перст!
Приказано дойти к Тунгуске от Тобольска,
короче, одолеть все тридцать сотен верст.

Не возразишь: пойдешь что волей, что неволей,
но скажешь ли кому, сколь этот путь рисков?
Зерколишек возьми – менять на мех соболий,
и браги не жалей для всяких остяков.

Слух про богатства имеется в народе,
но если врет народ, быть, стало быть, беде:
Берут-де там руду, да плавят серебро-де,
да только не поймешь – берут-то, гады, где.

Князишки купятся на русские посулы, –
наутро вспомнят ли, что пили ввечеру?
Пусть олово берут за просто так вогулы,
но путь желаемый укажут к серебру.

Тунгус горазд болтать, да верить ли ловчиле?
...Но и казнить его не следует пока:
из руд, что он принес, расплавив, получили
отливку серебра на три золотника.

Конечно, риск велик – придется жить, рискуя;
коль верную тропу укажет местный люд,
так подарить ему три пуда одекуя,
пятьсот зерколишек да шесть десятков блюд!

Так что ж запрятано под валуном лежачим?
Открыты берега, морозу вопреки.
Легко бы серебро найти войскам казачьим,
да только серебра не ищут казаки.

Для инородцев тут любой казак – вражина,
бурят бы и принес весь тот ясак добром,
однако что ни день беснуется дружина,
коль запрещаешь ей устраивать погром.

И пишет он, уста молчаньем запечатав:
«Сибирь не для ворья, и это весь ответ:
не больно-то легко собрать ясак с бурятов,
а что до серебра – его здесь просто нет».

И более угроз желая не имати,
ушел Игнатъевич в пургу и снеговерть:
чем сгинуть у царя в промозглом каземате,
так лучше средь тайги спокойно встретить смерть.

Примеривал февраль морозную обнову,
был день второй поста у христиан, когда
пустыня белая открылась Хрипунову:
вовек не досягнет рука Москвы туда.

Уж лучше погибать в таежной лихоманке,
чем от лихих друзей быть выданным врагу, –
и встретить тень царя однажды на свиданке
случится стольнику, замерзшему в снегу.

Века надвинутся и в узелок увяжут
все тридцать новеньких серебряных монет,
и, в общем-то, плевать, что именно расскажут
минувшие снега снегам грядущих лет.



ДРУЖИНА ОГАРКОВ. 1635*

В России склочнику живется слаще всех.
От куманька сего не ожидай подарков.
Терпенье долгое – почти всегда успех,
но думать не моги – уступит ли Огарков.

...Всё сорвалось. Москва опять подымет вой,
да только хоть стращай пожаром, хоть потопом,
ни хлеб с ножа, ни меч над дурьей головой
мунгала гордого не сделают холопом.

А дьяк такой второй: шлет жалобы в приказ:
мол, этот сучий сын, а этот тож собака;
знать, ябеды плодить в пятидесятый раз –
уменье главное, да и призыванье дьяка.

Тебя – или себя – он точно вгонит в гроб;
с ним просто говорить, не то что спорить, тяжко:
тут не подействуют ни розга, ни ослеп –
иль ты не ведаешь, с кем ты связался, Яшка?

* Колоритной фигурой был и первый помощник Якова Тухачевского, Дружина Огарков. В свое время на Руси Огарков «заварил» такое дело, что, как это бывало нередко у нас в стране, чтобы от него отвязаться, ему дали отличную характеристику и с повышением отправили в Томск. Но и здесь он не уgomонился, и оказался героем многих скандалов. Забегая вперед, скажем, что и на Тухачевского он объявил «государево слово». Следствие по этому делу длилось около двух лет, и в конце концов на радость казаков кляузный подьячий был бит батогами и посажен в тюрьму. Но и на этот раз он не успокоился и стал закидывать Москву жалобами уже на томских воевод. Дело опять завершилось обычным путем: чтобы отвязаться от него, томские власти выдали ему хорошую характеристику, и в 1651 году Огарков уже сидел на новой должности в Вологде. *Владимир Богуславский.*

Пять лет всего, как с ним наплакалась мордва,
там до сих пор клянут Огаркова Дружину.
Что ни скажи ему, ответишь за слова,
и сколь ни дергайся – не упредишь вражину.

Конечно, уповать на честь и верность зря
у повелителей конюшен и свиначен,
да кто же виноват, что шерть Алтын-царя
не стоит зипуна, что был ему подарен?

И так-то пакостно, а тут домашний кат:
грозит расправою и обвиненьем ложным!
И, право, стоило ль в вино бросать дукат –
и чашу на троих пить с тем царем ничтожным?

...Зазнайка мерзостный, да шел бы ты к свиньям,
как раз ты среди них сойдешь за домочадца!
В Москве-то помнит всяк: боярским сыновьям.
письму и чтению не нужно обучаться.

Ругаться на козла – лишь воздух сотрясать,
и сколько ни лупи – лишь пальцы онемеют:
сажай его в острог – да он горазд писать,
хоть бей, а хоть не бей – да он читать умеет!

И есть один лишь путь, чтоб сгинула беда:
ни сердца, ни души бесплодно не уродуй,
но расхвали его: глядишь, и навсегда
его на Вологду поставят воеводой!

Кукушкиным яйцом сей вылуплен птенец.
Не оскорби его ни мыслью, ни словесно!
Не ведает никто – кем был его отец,
а вот кто мать его – так это всем известно.

И сколько радости, хоть это и пустяк,
за здравие его испивши кубок пенный,
увидеть вдалеке, как окаянный дьяк
идет не к Вологде, а к матери согбенной.



ПОСНИК ИВАНОВ ПРОЗВИЩЕМ ЛЕНИН ЯСАЧНИК. 1635

Докамест недолись не вовсе окулела,
найдешь занятие, о сем не хлопочу,
а там перекрестись да и берись за дело,
когда ж сочтешь ясак – ступай да ставь свечу.

В обычай даннику прикидываться бедно,
всю рухлядь вешнюю пусть прочь уволокнут,
задаром не возьми роскошное медведно:
уж тут-то проведет тебя подлец-якут.

Он принесет не все, он будет тише мыши,
и сходу не давай ему потачки ты,
лисицу красную цени намного выше
недособолишек с пупки и со хвосты.

Ясак перебери, любую шкурку хая,
сторонних к соболям не допускай купцов,
шесть острядей возьми себе для малахая,
но черных не бери на шубу одинцов.

К соболью мелкому приценивайся тонко,
восхощет ли казна подобного добра?
Отнюдь не эконошь, когда несут кошленка,
и больше заплати, чем просто за бобра.

Не ошибиться тут – наука непростая,
даруется она не всякому уму,
не больно-то плати за шкурки горностая,
зверь, может, и красив, но в холод ни к чему.

А хоть бы этот край якуцкий вовсе вымер!
Одни лишь соболя имеют цену тут,
ведь шесть десятков шкур составят полный циммер,
а иноземцы счет на циммеры ведут!

Да будет всякий мех с дотошностью сугубой
проверен на износ, на запах и на вес:
тунгусская земля славна роскошной шубой –
а вовсе не огнем, что рушится с небес.



ПЕТР БЕКЕТОВ. 1636

Здесь индрик из-под скал показывает клык,
здесь драгоценное блеснит речное ложе,
здесь соболь шелковист и бобр зело велик,
здесь место рыбисто и для житья угоже.

По тайгам казаки три долгих года шли
во соблюдение московского указа.
Чтоб сердцем город стал якуцкия земли,
основывать его пришлось четыре раза.

И вышел на берег отряд передовой.
И, государевой благословен рукою,
в год семитысячный и сто сороковой
поставлен был острог над Леною-рекою.

Ему подаст земля толь тороватый плод,
что вряд ли будет вред от редких половодий;
да станет войску он казачьему оплот,
защита ясаку и пороху кустодий.

Кто здесь поселится – собьет с тунгусов спесь:
кто добывает соль – еду обильно солит.
Любой добравшийся остаться сможет здесь,
лишь основателю остаться не позволят.

...Ему же и беда, что пышут из нутра
терпенье ангельско и велелепье адско;
боюсь бы не видать нам без того Петра
ни Верхнеудинска, ни Нерчинска, ни Братска.

Страна великая проигранных побед,
нетающих снегов и муторной цифири;
в том много ль радости, чтоб три десятка лет
с убогим воинством мотаться по Сибири?

Но не поймет чужак, чем любо гольтьбе
жить между молотом и жаркой наковальной,
а если есть печаль во эдакой судьбе,
так доля индрика, поди, еще печальней.

Уходит летопись – кто ведает, куда, –
тоскует край, тремя империями битый;
и, город отразив на краткий миг, вода
степенно в океан стекает ледовитый.



ИВАН ГРАМОТИН. 1638

Не бунчук ли, не хвост над страную кобылий?
Дьяк сидит в размышленье, судьбу матеря;
ибо ясно, что власть не удержит Василий:
сколько гривен дадут за такого царя?

Пирого не найти в годуновской макитре,
не поймешь – кто властитель сегодня и здесь;
стал посмешищем царь неудачный Димитрий,
если править не можешь – к престолу не лезь.

Ни к чему заниматься бесплодной погоней;
кто себе на уме – тот себе господин.
Чем правитель щедрей – тем правитель законней.
Все одно не законен из них ни один.

Каждый может взглянуть на зимующих раков,
только дьяк не приемлет судьбу такову.
Много ль разницы – с войском идти на поляков,
или ехать из Польши с посольством в Москву?

Всех на свете враньем бесконечным измаяв,
кто другой и попал бы, возможно, в тюрьму.
Десять лет – постоянная смена хозяев,
но Ивана поймать не дано никому.

В дамках тот, кто не сделает лишнего вздоха,
тот, кто умное сделать умеет лицо,
что ни день прибирая лежащие плохо
деревеньку, слободку, починок, сельцо.

Не начавши речей, их не должно кончати;
чашу власти ты выжрешь до темного дна.
Ты – хозяин верховной российской печати,
так что даже корона тебе не нужна.

О, губа у тебя, безусловно, не дура,
ты ворон не считаешь, не щупаешь кур;
ты изменник, предатель, продажная шкура,
но с любого сдерешь семью семьдесят шкур.

Дипломатия – это великая сила,
ну, а верность кому-то – одно баловство;
то ли жил ты в эпоху царя Михаила,
то ли помнят тебя и забыли его?

Да, конечно, воспрянуть уже не по силе,
перед смертью никто не закусит удил.
Так возьмешь ли с собою, монах Иоиле,
все, что выпил, проел, проиграл, проблудил?

Память вечную чин отпевания прочит,
но с презрением громко сморкнувшись в усы,
дипломат-колобок удаляясь, хохочет.
ибо нет на пути ни единой лисы.

АДАМ ОЛЕАРИЙ. РУСЬ БЕСПРИЧИННАЯ. 1643

Снаряжает посольство в страну на востоке
Фридрих Третий, Голштинский и Шлезвигский арцух,
там везде, говорят, несмотря на пороки,
много чести в бойцах, много мудрости в старцах.

И туда, в дикий край сыроядцев и тундры,
где кочуют народы с широкою харей,
в экспедицию, запросто взят на цугундры,
уезжает степенный Адам Олеарий.

Но заказывать скорбный не стоит молебен,
надо ехать, хотя и с большим подозреньем,
что загадочен край, а не то и враждебен,
где закусывать водку умеют вареньем.

Дешевизна царит в той стране необычной:
две копейки за курицу или два ряпа,
пять семишников стоит барашек отличный
и всего на копейку – с малиною шляпа.

Не страна, а огромная добрая скрыня,
упоенье сыты, благодать саломати!
Так сладка благолепная русская дыня,
что ее и без сахара можно вкушати!

У купцов там великое множество связей,
кто подобное многожды видывал в жизни?
Алтабасов, дамастов, атласов и бязей
отчего ж не купить при такой дешевизне?

Ну, а если захочет бывалый рубака
снарядиться обновой для службы оружной –
он легко подберет для себя аргамака,
и чекан, и байдану, и меч харалужный.

Впрочем, нет на Руси благородных дуэлей,
нет по поводу драк никакого закона,
но легко возглашается с кротостью велей:
Bledinsin, Sukkinsin, Sabak, Matir Jabona.

Но поведать бы стоило даже и ране,
от подобных вещей с отвращеньем отпрянув,
что не только мужчин здесь ласкают по пьяни,
но и коз, и овец, и козлов, и баранов.

Впрочем, каждый решает, поверить ли вздорам:
разве все исчисляется в звонкой монете?
Иноземцу судить ли о крае, в котором
ничего не поймешь и за десять столетий.

Край, которому верен безродный и знатный,
край немислимо грешный и напрочь невинный,
край рыбешки отвратной и доблести ратной,
край, настоль благодатный, былинный и блинный.

Где тебе не жалеют последней рубахи,
где проходим, куда-то бредущим далече,
из церквей на дорогу выносят монахи
огурцы, и капусту, и редьку, и свечи.

Лишь тайгу, лишь пустыню, лишь скалы со степью
предъявляет паломнику вечность седая,
ибо смерть и рожденье не скованы цепью,
ибо Волга течет, никуда не впадая.

Из пучины вода утекает в пучины,
просто кружит и кружит, не ведая бедствий.
Там, где следствия нет – не бывает причины
где не стало причин – там не будет последствий.

ТИМОФЕЙ АНКУДИНОВ. 1654

Хто сначала скачет,
тот напоследок плачет.
Тимофей Анкудинов

Полюбуйтесь: удачлив, блестящ, знаменит
и владыками принят как равный,
кальвинист-протестант, мусульманин-суннит,
правоверный жидок православный.

Он сулит: возвращу золотой на алтын,
только дочку с приданым просватай.
Перед нами – Василия Шуйского сын,
Иоанн, получается, Пятый.

Короля и султана раздев догола,
он останется в прежнем почете.
Поищите второго такого козла –
и такого козла не найдете.

Ведь когда-то, едва зазубрив алфавит,
разобравшись в цифири немножко,
три деревни, а также пруд рыбовит
лихо пропил келейник Тимошка.

А ему наплевать: меж столичных кутил
не особо и трудно-то выжить.
Но в Москве, если лапу в казну запустил,
могут оную вмиг отчекрыжить.

Как сапожник, упьется купчина Миклаф,
позабудет про русские нравы,
а Тимошка, чужого коня оседлав,
как стрела, долетит до Варшавы.

Если сперли коня – не кричи караул,
с морды пьяной волосья откинув.
Будь доволен: тебя, как ребенка, надул
прохиндей Тимофей Анкудинов.

Польше сладко напакостить русским. Изволь,
трон полякам не отдали – нате ж:
самозванцу в Варшаве отвалит король
столько денег, что всех не потратишь.

Но подобный почет ненадежен, увы,
и Тимошка, завывши с досады,
очень близко почувствовал руку Москвы
на пиру Переяславской рады.

Ну и пусть: разломилась судьба пополам,
он – калач исключительно тертый,
он в Крыму без зазрения принял ислам
и свалил до блистательной Порты.

Если б только не страсть прохлаждаться в грязи,
процветал бы он в Порте поныне,
но почуял, что жареным пахнет вблизи
и сбежал к королеве Кристине.

Он-то думал: ничто ему там не грозит,
но наткнулся на русского дьяка,
и удрал через Ревель и Ригу в Тильзит,
восхитительный жулик-вояка.

Но Миклаф, обворованный в прошлом купец,
предъявил с золотишком лукошко,
и пришел нашей сволочи знатный конец:
был Москве предоставлен Тимошка.

Приговор у суда оказался таков:
впредь негоже ловить святотатца,
разрубить его на шесть отдельных кусков
чтоб не мог никуда разбежаться.

Полагается вспомнить, что всё – суета,
грязный ров оказался постелькой.
Ты записан на первой неделе Поста
после Гришки и перед Емелькой.

Окаянную жизнь не удержишь в горсти,
на судьбу не наденешь вериги,
потому как на плахе не сможет спасти
карусель перемены религий.



КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОЙ. ОПИСЬ КАЗНЫ ПАТРИАРХА НИКОНА. 1658

Беда зиждителю новозаконных храмин!
Уместно ли душе быть ставкой на кону?
Бумагу трать дестьми, исписывай пергамен,
а все одно с собой не заберешь казну.

Что делать велено – то самое и делай,
никак не избежать оказии такой.
Как глупый кур в ощип, попался престарелый
боярин Алексей Никитич Трубецкой.

...Ты скатан, будто блин, пшеничен или грешнев,
и брошен в писари отобранной казны,
и лишь окольниковый, тот самый дядька Стрешнев,
при этих описях с тобой протрет штаны.

Златая братина, лоскутье монатейно,
персицка ладона шестипудова кадь:
чье здесь имущество, хозяйско, иль ничейно?
Ужели здесь хоть что возможно отыскать?

Поддоны купковы, серебряные цаты,
росолник с кровлею, шурупных шесть фигур,
объярны ферязи, хоть ветхи, да богаты,
три старых саблишки, боярский татаур.

Возглавье низано, пять долгих патрахелей,
лук добрый ядринский, в бочатах клей мездров,
котел серебряный, три фляши разных зелий,
натреснутый куяк, сто новых топоров,

тарель финифтяна, ларец отборной смирны,
единороговый в серебро оправлен рог,
ефимков пять мешков, две гривенки инбирны,
седло чернеческо, чинаровый батог,

индейска желвеца глава закаменела,
плохого ладону пять с четвертью пудов,
два кубка ложчатых на тыквенное дело,
шесть выканфаренных серебрянных ендов,

часовник писменной, и ветх, и неухожен,
клубук поношенной, по черни среброткан,
шесть ножен без ножей, единый нож без ножен,
пять гривен золотых, зеньчуга достокан.

Не то, чтоб оценить, – и рассмотреть-то тяжко
все, что накоплено за несколько веков, –
лишь за пером перо мочалит Дуров Сашка,
записывая всю диктовку стариков.

Какой бы справился с таким трудом кудесник?
Но пустит в оборот, тебе благодаря,
всю здешнюю казну твой долгожданный крестник,
грядущий мальчик Петр, последний сын царя.

...Ну да, и вот еще – серепетинна иготь,
да мыла грецкого четырнадцать кусков...
Пергамены тащи: пора работу двигать,
и чистить каждую строку черновиков.



НИКИТА ДАВЫДОВ. ЦАРСКОЕ ЗЕРСАЛО. 1662

Вишневый кармазин пошел на однорядку,
камчатны ферязи добавил государь:
подобной милости не спрячешь за подкладку,
зане подкладки нет, сколь под полой ни шарь.

Но не возропщет он на ту беду пустячну,
он мастер, он царем весь долгий век любим:
и шапку для него он сладит саадачну,
пусть ей завидуют что Мишка, что Любим.

В державе не сыскать подобного талану;
жаль, дети не равны в искусности отцу,
поди, не молятся Косме и Дамиану,
без коих не видать удачи кузнецу.

Полвека протекло с тех пор, когда, воспрянув,
страна сподобилась означить свой закон,
и стражем при царе встал Филарет Романов,
в деснице меч держа, а в шуйце – Типикон.

Убит Траханиот и на кол сел Заруцкой:
аники-воины, короче говоря:
не шапка ложчата, а дрянь черноклобуцка
уместна недругам московского царя.

Но топчутся в Кремле работнички бесстыжи,
что в разум не берут – где меч, где долото.
Искусство мастера спаси, архистратиге,
сколь Гришка ни хорош, а все одно не то.

Сей, верности царю нимало не наруша
стволы умеет лить, – по совести, дотоль
такие дельвал, поди, один Первуша, –
пищаль да карабин, фузея да пистоль.

Но как зачнет шелом – то тратит силы вскую,
и каждый щит его похож на плоский корж;
он только губит кость бесценную морскую,
какую нам дает ужасна рыба морж.

Вот так и помирать, тайн ремесла не выдав –
к ним быдлу всякому вовеки нет пути.
У белого царя всего один Давыдов,
чей ерихонский шлем вовек не превзойти.

Давно за семьдесят, пора б уйти от горна.
да только б никому в его судьбу не лезть:
с зерсалом для царя он возится покорно,
не веря, что ему в стране замена есть.

...Смотреть в грядущее тому, кто молод – вредно,
ну, а тому кто стар – так вовсе смысла нет;
и лишь дивится тот, кто пропадет бесследно,
тому, кто все-таки сумел оставить след.

На стогнах корчится в пророчествах глашатай,
четыре лошади таращатся в зарю,
и смерть из темноты грозит косою щербатой,
и ясно, что она завидует царю.

Но рвешься заглянуть в последние мгновенья,
в те пропасти, где нет ни солнца, ни дождя,
где нитью тянутся годов стальные звенья,
рождаясь в вечности – и в вечность уходя.



ГЕТМАН ПЕТРО СУХОВИЙ АШПАТ-МУРЗА. 1669

Не каждый сможет в печь отправить образа,
не каждый мудростью сравним с эдемским змием.
Объявлен гетманом в Крыму Ашпат-Мурза,
в Полтаве звавшийся Петрушкой Суховием.

Не то чтоб писарю давалась жизнь легко;
зато легенда есть, – хотя верна едва ли, –
что именно тебе соратники Сирко
то самое письмо султану диктовали.

Не разделишь порой хулы и похвалы,
кто выбрал гетмана – не выберет судьбины;
к тому же не похож на лук и две стрелы
твой полукруглый серп и тощих две дубины.

Взлетают над страной бунчужные хвосты,
и Крым твердит, слова умело подбирая,
что ты, мол, вежествен, и всех разумней ты,
кто был присылаван к вратам Бахчисарая!

Порой забавен ход насмешливых веков
и писарю побыть неплохо вышибалой.
На рынках у татар есть спрос на казаков,
но спрос и на татар у казаков немалый.

Поляки, москали – у всех наточен меч,
что хуже – нехристи иль цадики пархаты?
Поди пойми, куда сегодня лучше бечь,
уж если бечь нельзя до бабы и до хаты.

Паны передрались под громкий треск чуприн,
но чуть не четверти казачества желанен
стал, за Черкасами занявший Чигирин,
тот самый Суховий, тот гетман-мусульманин.

Но настает всему урочная пора,
светило не взошло, – да было ли светило?
Был гетманом Петро, – и вот уж нет Петра.
похоже, что ему харизмы не хватило.

Сколь ни обертывай теперь башку чалмой,
ни в чем не убедишь казачества лихого.
...Что в Крым откочевал – так, стало быть, домой,
что перешел в ислам, – а в этом что плохого?

Ну, словом, брысь к себе, боец Ашпат-Мурза,
над жалкой участью твоей не торжествую:
поскольку тот, кому выносят гарбуза,
все выучил про ту культуру бахчевую.



СОКОЛИНАЯ ОХОТА. 1670

Сей гибельный раздрай почто на нас накликае?
Двоперстью ли грозить предписанной щепоти?
...Никиту Минина, известного как Никон,
прибрала бы судьба, чтоб не мешал охоте.

Три челобитные прислал, не взял посуду,
не по нутру ему царь Алексей Михалыч.
Мол, вовсе не ходи с охотой на аркуду,
мол, отложи кибить, да брось на свалку налуч.

Забава кречатя зело доброутешна,
глянь, прыснул дикомыт и мчит на шилохвостей!
А мних опять твердит, что власть царя кромешна,
сидит в монастыре и весь кипит от злости.

Друг прежний, сббинный, ты шел бы на попятный!
Молился б лучше ты, иль врачевал болезни,
коль убедил себя, что, мол, равно отвратны
аргиши, сиверги, томары или срезни.

Ты, старый, на жидов идешь войной хоробро,
как совесть, горестно пророчишь и бормочешь,
глядишь вослед царю и щуришься недобро,
на перестрел-другой подвинуться не хочешь.

Забуть бы о тебе, или послать удавку,
иль лучше в Пустозерск отправить, на задворки,
покуда балабан еще не сделал ставку,
взыскуя селезня, а лучше бы тетерки.

Отрадны холода, да только слишком близки,
веселье царское кончается, как книга,
охота хороша, да только сохнут прыски,
и в оных больше нет добычи для челига.

Гроза на монастырь надвинулась остатне,
невидимо вокруг кипят смола и сера,
которыми грозит царевой соколятне
свистящею стрелой расколота вера.

Пусть обвинения жестоки и взаимны,
но им отмерен век, до странности недлинный:
лишь тропари гремят, и слышатся прокимны,
и память вечная охоте соколиной.



ПАРФЕНИЙ ТОБОЛИН. СОКОЛЬНИК. 1670

Сокольник, ястребник, подлазчик да подлѣдчик,
как «Отче наш» усвой, что ныне говорю –
привыкни зверя гнать среди болот и кочек,
и в поле выставить, и выстрел дать царю.

Бояре, и князья, и отроки, и гридни
сѣзжаются на лов в охотничьем пылу;
чем яростнее зверь, и чем он страховидней,
тем более царю годится под стрелу.

Ни в пущах, ни в лугах добыча не иссякнет,
приучен царский двор к охоте верховой,
а если сокол твой в полете утю мякнет,
горлатну шапку жди за подвиг таковой.

Владыка – человек, и не лишен привычек,
но не исчезь забот, что на царе висят.
По сорок кречетов пером несет помытчик,
да не хватило бы и дважды шестьдесят!

Господь оборони внимание ослабить,
не только соколу потребен острый глаз,
статейничий следит, чтоб не мешали вабить,
челиг вынашивать обязан всякий час.

Борзятню уважай, выжлятнею не гребуй,
обязан быти псарь с собаками хорош,
уменью вящему ты уваженья требуй,
когда медведицу осочивать идешь.

Да, медеянский пес – владыке дар хороший,
особо, если тот не старше двух годов.
Боярин бьет челом и знатной сукой лошьюей,
добавя зуб морской на несколько пудов.

Прощайся, лисовин, с роскошной шубой лисьей!
Зверье укывлять напрасно тщится в дебрь,
за тридевять ворон беги от хищной рыси
и не ходи туда, где спит косматый зебрь.

«Бобра в России нет, – писал голландец некий,
отвадить мя купцов от нашего добра, –
чтоб полевать могли царевы человеки,
везут из Гамбурга достойного бобра».

Тот немец знатно врет, мол, им добыта шкура,
дан все-таки язык на что-то богачу,
на то ответь ему, что хаживал на тура –
проверить некому, а я не уличу.

...Однако новый век неумолимо жёсток,
ничто не ладится, страны печален вид,
а новый государь, еще почти подросток,
сравняться с прадедом охотой норовит.

Царь собирается на Тульскую охоту,
садится на коня, прощается с Москвой,
но вскорости придет пора платить по счету,
и оспа, и зима, и камень гробовой.



КНЯЗЬ ЮРИЙ БАРЯТИНСКИЙ. 1671

Не был мягок особо, и не был жесток,
но по жизни носим, будто ветром полова,
то на юг до Олешни, а то на восток,
то на север, до самого города Шклова.

Не тревожил Москву никакой хохлован,
но отправили князя прищучить холопа,
ибо рыпаться начал предатель Иван,
славозвисный Выговский, герой Конотопа.

Впрочем, этот убрался от Киева геть,
но войною на Киев полез голоштанник,
Костянтин, горе-гетман, сплошная камедь:
то ли брат, то ли уйчич, а может, племянник.

Это был и не то чтобы полный кретин.
но никак не годился на роль воеводы,
так что шустро от князя сбежал Костянтин,
побросав буздыган и другие клейноды.

Но случился под Чудновым полный звездац,
улыбнулась фортуна предателям-братцам.
Приказал Шереметьев, не лучший боец,
вскинуть лапки и Киев оставить поляцам.

Князь ответил: «Я сам разберусь в старшинстве,
никому не давать бы подобных советов.
Я царю присягал, ну, а царь на Москве:
я не вижу в упор никаких Шереметов!»

Обе стороны льют на противника грязь:
не убивши гадюку, а разве что ранив,
в перспективе выходит, что попросту князь
недостаточно скальпов содрал с хохлованив.

Ну, с поляками ясно, с хохлами – почти;
все подробности тут приводить не рискую,
только князю пришлось по кривому пути
снаряжаться опять на толпу воровскую.

Бивший гетманов разных и всяких Сапег,
князь опять оказался в бою безотказен:
был из Разина, видно, поганый стратег,
и продул, все что мог, незадачливый Разин.

Только службы, не более, требует царь.
На хоругвях победу московскую вытказ,
князь недолго возился со скопищем харь
и всего за полгода добил недобитков.

Слава быстро проходит, судьба такова:
в палачи попадешь, изловив горлопана;
в Оружейной палате лежит булава,
и куда-то засунули череп Степана.

Обреченный чинить раздираемый строй,
полководец, заступник и божий ходатай,
удалился в века неудобный герой,
из российских анналов бездарно изъятый.

Безразличие истину тянет ко дну,
справедливости нет, хоть признаться и тяжко,
и того, кто спасал эту дуру-страну,
все никак не отпустит судьба-неваляшка.



ЮРИЙ КРИЖАНИЧ В ТОБОЛЬСКЕ. 1672

Кто в былое стреляет из малой пистолы,
на того из грядущего смотрит пищаль.
Ты на хвост не насыплешь минувшему соли,
глядя в прошлое, острые зубы не скаль.

Царь меняет к обеду за ферязью ферязь,
остывает еда, выдыхается хмель,
а Крижанич, в Тобольск упеченный за ересь,
рассуждает о воинствах русских земель.

Спит Европа, беды на себе не изведав,
не боясь самопалов, мортир и фузей,
хоть противиться даже войскам самоедов
не сумели бы ратники прусских князей.

Описания медленным движутся ходом,
не спешит никого осуждать униат –
не любое оружие годится народам,
но потребны дамаск, аль-фаранд и булат.

Вот на них-то и ставят в боях государи,
сколь ни дорого, но покупай, не мудри,
будет поздно, боец, вспоминать о кончаре,
в час, когда над тобой засвистят кибири.

О штанах и о шапках заботиться надо,
и о множестве самых различных одёж –
ибо мало бойцов погибает от глада,
но от хлада любой пропадет ни за грош.

Познаются уроки на собственной шкуре,
ключ грядущих удач не лежит в сундуке.
...Пишет книгу свою рассудительный Юрий
на понятном ему одному языке.

Бедолагам всегда не хватает обола,
и уж вовсе не стоит пускаться в бега –
крепко узника держат низовья Тобола,
снеговые луга и глухая тайга.

Только в ссылке и можно работать в охотку,
сочинять, суеты избегая мирской,
там не надо садиться в харонову лодку,
что плывет в океан ледяною рекой.

Потерпи, и однажды помрет истязатель,
семь с полтиной – не больно-то страшный удел,
где была бы Россия, когда бы писатель
не скитался по ссылкам, в тюрьме не сидел?

Что за странная нота звучит, как звучала,
что за долгие ночи и краткие дни?
Может, вовсе и нет ни конца, ни начала?
Может, только и есть, что одни лишь они?



ЦАРИЦА НАТАЛЬЯ. 1672

Весь очеканен узором затейным,
в горницу плавно плывущий сосуд,
блюдо капусты великим говейном
слуги великой царице несут.

Ныне к еде не положено соли,
квасу нельзя, а не то что вина,
и причитается миска, не боле,
каши, что сварена из толокна.

Квашено чем-то моченое что-то,
кушай, царица, молитву прочтя.
В страхе, в ознобе и взмокнув от пота,
слуги твои уповают на тя.

Повар, да что ж ты наделал, каналья,
вызвал на головы нам молонью:
не пожелает царица Наталья
есть непотребную кашу сию!

Шепчутся знатные вдовы умильно,
и состраданья полны, и любви:
«Ну, тяжела ты, Наталья Кирилна,
матушка, только царя не гневи!

Это великое благо, послушай,
то, что постимся мы в зимние дни –
скушай, царица, хоть что-нибудь скушай,
гнев от холопов своих отжени!»

«Нет уж, в подробностях всё растемяшу,
рано пока рассуждать про тюрьму,
только за эту поганую кашу
вас непременно я к ногтю возьму.

Вспомню и трусов, и жмотов, и скарред,
вся-то заходит страна ходуном,
кашу еще не такую заварит
мальчик, рожденный в дворце Теремном!»



АЛЕКСЕЙ ЛОДЬМА. СТРЕЛЕЦ.
ПУСТОЗЕРСК. 1682*

Лихо годы летят, как собачьи упряжки,
посмотри за воротца, далёко ль отсель
нынче безымень бродит того Никиташки,
и того, кто умрет через пару недель.

Огорчений немного, и мыслей негусто,
лишь плывет от кострища недавнего дым.
Пустозерское место содеялось пусто,
хоть и ясно, что сделалось местом святым.

Враг, поди, богомолен, и тоже распятем
осенен, потому-то и чует беду, –
это надо же быть под которым проклятем,
чтобы ранее смерти скитаться в аду?

Вот и ползает пусть от погоста к погосту,
даже летом пускай остается во тьме, –
ведь анафему пастырь занес на берёсту:
потому как не всем разживешься в тюрьме.

* Стрелец Лодьма, как удастся выяснить, это тот самый брат Алексей, в доме которого до «казни» 1670 г. встречались по ночам пустозерские узники. Из еще одного документа Новгородского приказа мы узнаем, что имя пустозерского стрельца Лодьмы было Алексей. Благодаря этому проясняется контекст письма дьякона Федора к семье Аввакума, письма, по которому и известно давно о пустозерце Алексее и его доме. Федор благодарит Марковну за «запасец» («крупки овсяные и яшные»), который она прислала с неким Лодьмой ему и протопопу Аввакуму, и продолжает: «Мы з батюшкой ис темницы нощию . . . вышли к брату Алексею в дом и тут побеседовали ... и запасу мне отец половину отделил — крупы и муки». Становится ясно, что Лодьма и брат Алексей — одно лицо и что привезенную крупу с мукой делили в его доме. Несколько строками ниже дьякон просит Марковну «всякую посылку» для них присылать к Лодьме.

Нешто жалко, что нет воздаянья поступку, –
но бессмертие жизнью оплачено всей,
потому как муку и овсяную крупку
из Мезени возил ты сюда, Алексей.

Что за сила сыскалась в тебе, в христолюбце,
и такое сознание святой правоты?
Быть бы пятым тебе в полыхающем срубе,
если с этим гостинцем попался бы ты.

Только верному псу и не надобно порска,
он летит, и не ведает прочих затей, –
а на небе пылает костер Пустозерска,
указуя дорогу к спасенью детей.

Нынче сердце стрелю пробито навывлет.
только горестей дольних незримы следы;
сколь ни пыжься Москва, все одно не осилит
по весне зарубившей печорской воды.

А вода и сама как придет, так отыдет:
у людишек не жизнь, а одна колгота.
Это что же за власть, что себя же не видит,
и творит из пустыни святыя места?

Горе горькое радости служит причиной,
и, сияя для всех от печорской страны,
над землею висит негасимой лучиной
пустозерский пылающий куст купины.



АТАМАН ИВАН СИРКО. 1680

От крестин до венца и до смертного ложа
то ли вечность, а то и не так далеко.
Из картины торчит длинноусая рожа:
полюбуйтесь, враги, на Ивана Сирко.

Он – то ссыльный полковник, то грозный соперник,
он – то мальчик зубастый, то страшный кулак,
знаменитый воитель, казак-характерник,
победитель татар, атаман-волколак.

Чтоб такого испечь – не мети по сусекам,
не готовь ему камеру в черной тюрьме,
не слуга москалям, не содружебник пшекам,
но всегда неизменно себе на уме.

Он от вечного боя не ждет передыху,
он живет на коне, – лишь копыта стучат.
Он жену охраняет, как серый волчиху,
и детей бережет, будто малых волчат.

Потому умирать и не хочет вояка,
что еще не добит окаянный осман.
Может, кто и страшится судьбы волколака,
но доволен такую судьбой атаман.

Истребленья волков не допустит Всевышний,
приказавший татарское горло разгрызть.
Пусть в Сибири бессильно гниет Многогришный,
но потомков спасет атаманова кисть.

Поражений не знавший за годы скитанья,
кошевой янычарам – что шкуре клеймо;
так пускай обчитается сволочь султання
матюгами и прочим, что впишут в письмо.

Казакам попутствует ветер удачи,
чертомлыцкое войско пойдет вперекор,
и рассеются грязные орды кипчачьи,
убираясь в пустыню к себе за Босфор.

Обозначено место, и вытянут жребий,
на потомков своих справедливо сердит,
сей герой, вознесенный над стадом отребий,
скаля зубы, как волк, разъяренно глядит.

Наступая на пятки, дубая по хайлам,
и на то наплевавши, что жизнь коротка,
истребляя татар, по степям и по яйлам
рыщет волчья душа атамана Сирка.



ФРАНЦ ЛЕФОРТ. 1699

Второго марта кончился табак,
смерть проплясала нечто вроде танца.
Судьба в последний завела кабака
упившегося адмирала Франца.

Кто в проигрыше сроду не бывал,
тот, в общем, не обязан и молиться.
Уж лучше дать последний карнавал,
чем приглашать на службу словолитца.

Зачем лечить, коль скоро это тиф?
Работал гробовщик куда как споро,
под сорок залпов душу отпустив
князь-папы всепьянейшего собора.

Царь, безусловно, дорожил людьми,
и боль утраты в нем не умирала.
Сынок Анри, тем паче брат Ами
отнюдь не заменяли адмирала.

Годов неполных сорока шести
не думал он, что песенка допета,
но был обязан все-таки уйти
под музыку старинного квартета.

Соратников не разглядеть в толпе,
безличье задевает за живое,
к тому же больше никаких супе –
а смерть такая неприятна вдвое.

Зато и болтовни на столько лет,
и столько мыслей каждому умишку:
кто погребен, а кто как будто нет,
и кто украл с его могилы крышку.

С тех пор немало водки утекло,
но мертвецу во хмель войти непросто,
и адмирал гуляет тяжело
в ночной тени Введенского погоста.

Начала нет и, значит, нет конца,
уходит в никуда тропа кривая,
и призрак смотрит из окна дворца,
скотопрогонный тракт обозревая.



МАЗЕПА В БЕНДЕРАХ. 1709

Дела у гетмана невероятно худы.
Не верится, сколь он бывал великолепен!
Ребром, в якому бис, и орденом Иуды,
и много чем еще отмечен путь Мазепин.

В убогой Варнице есть мед, который падев,
хорош он или плох – так это дело вкуса.
Мазепа здесь живет, кампанию прогадив,
и близкой смерти ждет, развесив довги вуса.

Зачем ему казна, с которой геть удрапал?
Он держит золотой, из бочки оный вынув,
с ним что на крышу лезть, что укладаться на пол,
когда за семьдесят – уже не до флоринов.

Соратники сидят, как куры на насесте,
горюя, что война ще даже не почата,
а гетман пыжится и потребуе мести,
турбуясь за свои тяжелые бочата.

Он шуйцей обнимал ту Мотрю, что Мария,
сто тысяч крепостных десницею облапив:
и теплилась в душе наисолодша мрия –
навидавшись в Москву, побить усих кацапив.

Страшися пуговиц, король холодной Сверье!
Коль с левой встал ноги, то все не слава богу,
коль даже у своих утратил ты доверье,
безглуздо уповать на свейску допомогу.

А королю конец: он скоро сломит шею,
и в битве с турками утратит кончик носа,
под пули датские полIZE вин в траншею,
и боле не задаст ни одного вопроса.

Проходить низка днів безрадостних і сірих,
страх перед будущим, пересыхает в глотке;
козаци сердятся – зачем ты, гад, в Бендерах
серебряные все распродал сковородки?

Кто поумнее, тот ховається в вертепы,
за дело гиблое бессмысленно сражаться.
Вот осень на дворе, и больше нет Мазепы,
и скоро тронутся подводы до Галаца.

История не то, что мы сегодня строим,
а то, чем мы потом историкам потрафим, –
кто через триста лет запишется героем,
не станет размышлять про несколько анафем.

И грим, и блискавка, и бесконечный ливень,
народ возликовал и буйствует призывно,
апофеоз судьбы – купюра в десять гривень,
пусть это и никак не золотая гривна.

Не порти праздника, не трогай маскарада,
вовек достоинства народного не трогай!
Видомо всім що та его полтавська зрада
була не зрадою, а вищою перемогой!



ИГНАТ НЕКРАСОВ. ЗАВЕТЫ. 1710

Жизнь людская – а что на земле мимолетней?
Сколько правил вмещает великий наказ?
Их сто семьдесят было, осталось полсотни.
Четверть тысячи лет, как не сдался Некрас.

Этим правилам внуки последуют слепо,
не на всех напасутся цари домовин,
и неважно, что сгинул предатель Мазепа
и убит благородный Кондрат Булавин.

Эти правила кратки, понятны и строги:
все отрублено в них, будто шашкой сплеча.
По Батыевой к югу помчатся Дороге
казаки от чудовищных крыл бахмача.

..Никогда не чиня умышления злого,
казакам казаки доставляют приют,
ибо Кругу приносится первое слово,
и последнее слово ему же дают.

Навсегда остается казак старовером,
кто моложе, тот слушать должен старика,
не зазорно стрелять по москальским аскерам,
но избави Господь застрелить казака.

Всей станице поближе держаться друг к другу,
не держать ни тюрьмы для своих, ни шинка,
друг за другом следить и докладывать Кругу,
уходить, если близко царева рука.

Если кто обнищает, вконец бесплодев,
да и если состарится вовсе не вдруг,
если болен, безумен кто или юродив –
и о том казаке позаботится Круг.

Атаман и казна подчиняются Кругу,
ну, а Круг – только Богу, и только судьбе,
так что если, казаче, тыловишь белугу,
только третью белугу оставишь себе.

...Наплодила Москва палачей и придурков,
только голос подашь, да и сразу куку.
И приходится жить казаку среди турков,
ибо некуда больше идти казаку.

Видно, жирную варит Москва чечевицу,
но не все хорошо и в турецком доме:
здесь какой-то подлец опозорил станицу,
продал пушку Игната неведемо кому.

Время лечит, подробности скрыты во мраке,
но и турку не взять казака на износ.
А в окошко глядит вместо близкой Итаки
птичье озеро, сонный и синий Майнос.

Беспредельно упрямство, да жизнь бедновата,
начинается год и кончается год,
и проносится мимо потомков Игната
бестолковых столетий босой карагод.



ИВАН ПОСОШКОВ. 1724

Причина скудости давно известна,
она чужда для духа московита,
засим пора обследовать словесно
благоустройство многокобзовито.

Гляжу на море, пребываю в думах:
суда гостей торговых режут влагу,
но не товары уплывают в трюмах,
а лишь сырье, в чем вижу изневагу.

Торговый гость порой зело скупенек,
глядишь – от слез он, как от ливня, вымок:
а вот пускай не видит русских денег,
пусть не возьмет копейки на ефимок!

На их товары пусть не будет жалоб,
но чтобы нам не ведать недостачи,
пусть иноземцы торг вели бы с палуб,
на берег не спускались бы обаче!

Найдем у нас предорогие пива,
полно медов и добрых водок тоже,
почто же вина фряжского разлива
для нас настоек дедовских дороже?

Харчи у нас дешевле ихних точно,
чего б они в России ни алкали,
однако продавать в Европу мочно
не лен да шерсть, а сукна да миткали!

Пусть иноки у нас, блюда уставы,
на праздник и вкусят немного рыбы,
но кои же из них иной потравы
просить помимо соли возмогли бы?

Семейство тоже требует подхода,
женонеистовство переборовши,
к невесте лучше не входить три года,
абы детишки были поздоровше.

Уже дыханье слышу смерти скорой, –
противостать смогу ли злomu кову?
Писанья эти пользы никоторой
не сообщат Ивану Посошкову.

Лишь добавляю к оному завету,
законов наших ведая свирепость –
я знаю, что меня за книгу эту
посадят в Петропавловскую крепость.



МОНАХ НЕОФИТ.
ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. 1725

Для чего государь городит огород?
Что за шорох такой в государевой свите?
Жаль, свидетель событий тем более врет,
если вовсе и нет некоторых событий.

Не поймешь ничего, сколь в затылке ни шарь:
то ль за что наградят, то ль готовится плаха?
Чуть пошел в анпираторы нынешний царь –
к староверам прислал Неофита-монаха.

То ли будет молебен, а то ли погром,
и монах – то ль мудрец, то ли дуб стоеросов:
получить он желает, пока что добром,
сотню точных ответов на сотню вопросов.

Старопрежние злобства московских царей
отравили стомах, и слезину, и ятра –
но однако речет велеумный Андрей,
что не должно за всё порицать анпиратра.

Не вернет Соловки, не отстроит скиты,
у него в городах что ни храм, то темница, –
но и старцам зато не ломает персты,
за него через силу, но надо молиться.

Если разум владыки не полностью пуст,
обождем, чтоб исполнились Божьи обеты.
И Андрей Дионисьев, второй Златоуст,
со товарищи Питеру пишет ответы.

Коль во мраке живешь, похулишь ли зарю?
Ждет обитель, уверена в добрых известьях.
Отвезут выговецкие списки царю,
только царь отойдет, не успевши прочесть их.

Вот и порвана сеть, и упущен улов,
и сегодня узнать никому не по силе:
может, царь и не ждал опровергнутых слов,
а, напротив, хотел, чтоб его убедили?

Зря ли мудрый Андрей золотил алфавит,
благодатное слово над миром возвысив?
Ничего не добился монах Неофит,
но кому без него отвечал бы Денисьев?

Пробудился рассудок – и мигом зачах,
оборвал начинанья, молитвы и войны.
Что поймет государь в староверских речах,
и глухой, и слепой, да и просто покойный?

Если задал вопрос – так получишь ответ,
обижайся, коль что за живое задело:
староверам уже полчетыреста лет
до российских царей – никоторого дела.

Но забавно забрался в историю мних!
Даже власти за это его не осудят.
Ну, а нам до него, а тем паче до них,
дела не было, нет и, похоже, не будет.



БАРОН ВАСИЛИЙ ПОСПЕЛОВ. 1730

Ничего-то плохого по жизни не сделав,
осаждаем придворными с многих сторон,
как ты все-таки выжил, Василий Пospelов,
из русского теста спеченный барон?

На светилах бывают немалые пятна,
но без пятен любое светило мертво.
Как бы это сказать про тебя деликатно,
постаравшись притом не сказать ничего?

Нынче нет на подобные вещи запрета,
так куда же ты сгинул, забросив дела,
и в котором запаснике смотришь с портрета,
для владыки фехтуя в чем мать родила?

Потому и молчанья тебе не подарим,
что столетья – не повод сзывать карнавал.
Ты, бывало, дуэтом певал с государем
и душевно, Василий, ему подпевал.

Молодой, исключительно видный мужчина,
и при этом, возможно, что тот еще жук,
никогда не просил генеральского чина
двух Петров Алексеичей преданный друг.

Нипочем не встревая в чужие раздоры,
обстоятельно чистил царю сапоги
и, как хитрый Павлушка, не лез в прокуратуры,
нарезая по жизни придворной круги.

Не судак и не лещ, но уж точно подлещик,
при царе то денщик, то скорей гардекор,
при царицах – шталмейстер и добрый помещик,
не миткаль набивной, а простой коленкор.

Превратиться не может удача в обычай
вот на этом-то шею сломал бы смутьян.
Счастлив тот, кто доволен судьбою денщикей,
камер-юнкерством, сотней-другою крестьян.

Перевернута кем-то и где-то страница,
на которой останется несколько слов.
Как забавно, что честное имя хранится
в самом странном реестре российских орлов.

Ну, а впрочем, и в том никакого урона.
И уходит пленительный наш имярек,
унося иронический титул барона
в уносящийся прочь восемнадцатый век.



ЯН ЛАКОСТА. 1740

Шутит история многие шутки,
часто смешны они, часто горьки.
Если находишься в здравом рассудке,
знаешь, как славно живут дураки.

Требует разума эта работа,
не подойдет на нее сумасброд;
Так что бери в короли полиглота,
девятишкурочный странный народ.

...Перебирая шутов и болванов,
уж постарайся, дружок, не сопрей.
Много в России Петров и Иванов,
но императору нужен еврей.

Царь – собиратель редчайших исчадий,
вот и прижился слугою двора
принц африканский, король семоядей,
признанный кум государя Петра.

Любит владыка играть в игрушки,
вот и следи потому, что ни день,
чтобы сияли поверх черепушки
зубчики, а не мозги набекрень.

Эта держава – для трона подножье;
место не смеха, а страшной игры.
Медленно кружатся мельницы Божьи,
и, как ни жаль, вымирают Петры.

Вот и кривляться приходится, абы
как-то суметь соблюсти чистоту.
Правят Россией веселые бабы,
и потому не до смеха шуту.

Пусть объявляют болваном махровым,
только б не кинули в нети потом.
Много ли прибыли – в граде Петровом
значиться самым картавым шутом?

Старых ошибок вовек не исправишь,
жить нелегко у царей на виду.
Ежели ты от рождения картавишь,
не покупай для детей какаду.

Счастлив карман, да и честь не задета,
время и вечность сыграли вничью.
Обороняет святой Бенедетто
невероятную старость свою.

Счастливы жители горних селений.
Сбросив обноски придворных ливрей,
по небесам на шестерке оленей
мчится седой самоедский еврей.

Семьдесят пять – это в общем немало,
кто ни гонялся – никто не поймал.
Точно ли ты повелитель Ямала,
и для чего тебе нужен Ямал?

Что ж, потрудились – теперь отдыхаем.
Нынче не выдаст никто и не съест.
Так что, Лакоста, пожалуй, лехаим,
вот тебе, батюшка, истинный крест!



КАРЛ ФРИДРИХ ИЕРОНИМ ФОН МЮНХГАУЗЕН. 1744

Не оконфузиться, любезные коллеги,
о прошлом думая, куда как нелегко.
На дне у памяти хранится, как в ковчеге,
век восемнадцатый, столетье рококо.

Мы на короткий миг в былое заглянули,
и нам открылся мир в случайном пустяке:
красавец-командир в почетном карауле
уставил взор в глаза пленительной Фике.

Поручик гвардии: застрявшая карьера,
но это бы легко поправила семья.
По мысли матушки, такого офицера
возможно бы вполне определить в зятя.

При Леопольдовне он был опорой трона;
проступка не спустил он шкуре ни одной,
и вздрагивали все при имени барона –
и обер-кулинар, и мастер корфяной.

Он прослужил семь лет холодному востоку,
дрожали перед ним могучие враги –
но он не угодил лейб-медику Лестоку,
так ни единый врач не мог лечить мозги.

Кто не надел парик – так тот серьезно болен,
косица в проруби легко обережет.
В России кони ржут, свисая с колоколен,
а палец покажи – так и народ заржет.

...Очаровательный и благородный жулик,
рассказывал о том, как славно при луне
скакать под музыку оттаявших сосулук
на полулошади, не то полуконе.

В России так хорош сезон охоты вешней,
барон рассказывал с ответственностью всей
о том, как косточкой от съеденной черешни
однажды подстрелил пятнадцать штук гусей.

Не все настоль храбры в России офицеры,
но за рассказом тем не надо лезть в карман,
как лихо на ядре он облетал Бендеры
и у Тирасполя чехвостил мусульман.

Жаль покидать края икры и осетрины,
по воле не своей прощаться со страной,
где наступает век Фике-Екатерины,
которая ему могла бы стать женой.

Подобного тебе никто не сыщет фрукта.
Кто обвинитель здесь, защитник иль судья?
Какую можно честь еще воздать тому, кто
стал императором всемирного вранья?

Пускай историки беззубо десны щерят,
пусть сунуть требуют куда-нибудь персты, –
пусть собеседники не так уж сильно верят,
но сам-то веруй в то, что сочинишь ты.

И, стало быть, не зря живешь ты с мыслью шалой,
от самых первых дней до гробовой доски,
что если долго врать, то мир спасет, пожалуй,
ложь во спасение от скуки и тоски.



ДЖАКОМО КАЗАНОВА В РОССИИ. 1766

Из Митавы до Риги, а там и столица –
такова же тропа из Парижа в Лион.
Бесконечный сюжет в бесконечности длится:
кто важнее из нас: то ли я, то ли он?

В Петербурге угрюмы небесные своды,
так и сыплют на город дождливой трухой.
Как в Италии ждем мы хорошей погоды,
так и ждем мы в России погоды плохой.

Петербургу Москва – хуже кости в желудке,
но зато Петербург для Москвы – что змея.
На сугробах отнюдь не цветут незабудки,
и народ неумерен по части питья.

Водка – это спасенье, чтоб нос не замерз твой,
под нее и закуска идет на ура, –
ты в России с утра и до ночи обжорствуй,
и, обжорствуя, снова сиди до утра.

Тут к могильному запаху нет отвращенья,
тут нередок в продаже подержанный гроб.
Если тонет младенец во время крещенья,
тут же топит второго бестрепетный поп.

Ни на что здесь не ропщет народ-самосевок,
он природно невинен, как кажется мне.
...Отмечаю высокое качество девок
и обилие оных по малой цене.

Я в Европе рожден и людьми не торгую,
но куда подевать нерастроченный пыл?
Тут решил я потратить гинею-другую
и девицу одну для себя прикупил.

Хороша, не скрываю, хотя безголова,
впрочем, женщине много не нужно мозгов.
Здесь дворяне играют под честное слово
и при этом спокойно не платят долгов.

Коль ответы хотите найти на вопросы –
вспоминайте о вашем покорном слуге:
с шулерами вовек не садитесь за штоссы
и с любовницей будьте на строгой ноге.

Не поймешь, что такое в России творится:
то ли запад, а то ли далекий восток.
Только умных и есть, что одна лишь царица,
да еще иностранцев неполный пяток.

Хорошо, что Европа к тебе нетерпима,
мать Россия, ты больно себе на уме.
Вспоминайте, снега, Казанову Акима:
я уж лучше побуду в свинцовой тюрьме.

Уезжаю отсюда, и путь продолжаю,
и в Варшаву въезжаю, но все-таки Русь
уважаю за то, что себя уважаю
и за то, что сюда никогда не вернусь.



ГОТТЛОБ КУРТ ГЕНРИХ ТОТЛЕБЕН. 1773

Где священник, где молебен, черт бы всех побрал!
...Матерится нынче главный русский исполин,
по фамилии Тотлебен царский генерал,
Готтлоб Генрихович славный, граф, что взял Берлин.

Мастер морду бить соседу, да и всем вокруг.
Примечайте: не столице ль нужен сей герой?
У него всегда победу рвут друзья из рук.
У него любой шармицель на один покрой.

Любо прусскому вельможе Пруссию громить.
И кому он только нужен – что-то не секу.
Ох и мастер он, похоже, баснями кормить.
Дважды бомбами контужен прямиком в башку.

Истый мастер, право слово, нарываться зря,
он в войсках большая шишка и большой нахал.
Лишь взглянул на Пугачева – и признал царя,
ну, а хитрый мужичишка шанса не прочтал.

Тот, кто гордо шаг чеканил – слопал первый блин.
Ты оставь его в покое, не кори ничуть,
потому как все же занял генерал Берлин
не любой бы мог такое дело провернуть.

Славный тымф Елисаветы чтит берлинский люд.
Пропадают деньги в дымке в дальней стороне:
Эти мелкие монеты пруссаки берут,
ибо русские ефимки там в большой цене.

...Генерал, при всей отваге слыл за болтуна,
был за все свои затеи с должности смещен,
посидел чуток в тюрьге, получил сполна,
изгнан из страны в три шеи, но затем прощен.

Снова в бой спешит рубака, позабыв о том,
что злосчастье заразно, и в который раз
аксельбант вернул, однако в деле непростом
был оболган безобразно, сослан на Кавказ.

Генерал-майорским чином двинул на Тифлис,
через горы, через реки выбрал путь прямой,
не понравился грузинам, вспомнил свой девиз:
«верен твердо и навеки» – и утек домой.

Что прописано в уставе – то и соблюди.
Был он лих, и был он странен, жаль, попал впросак:
слег с горячкою в Варшаве, – вот не ждал поди! –
жил как добрый лютеранин – помер как русак.

В разбирательстве прохладца: надо ли тянуть?
Со своими и с чужими ссориться на кой?
В чем тут, право, разбираться, если пройден путь?
Генерала со святыми, Боже, упокой.

Что за мрачное мгновенье, – хуже не найти.
Вот последний гаснет лучик, – с места и в карьер
удаляется в забвенье, всем чужой почти,
славный генерал-поручик, русский кондотьер.



АНТОНИО САНЧЕС. 1782

То тянутся года, то мчатся, как газель,
то из мензурки яд, то молоко из блюдца...
Ученый физикус, аптекарский гезель,
то призовут тебя, то не дадут вернуться.

Какая широта, какой меридиан
сулили бы тебе хоть видимость покоя?
Что делать, если ты – еврей для христиан,
а для евреев ты намного хуже голя.

Которым языком себя обматеришь?
Ужель бесчестие со славой совместимо?
С почетным абшидом отправлен ты в Париж,
всего-то через год оставлен без сантима.

Императрице ли вот так рубать сплеча?
Здоровья никому не обрести с разбегу.
Всегда в Париже есть работа для врача, –
да вот и Эйлеру обидно за коллегу.

Россия без врача – бескружечный корчмарь,
точнее – пьяница с порожнею бутылкой.
Царица померла, а следующий царь
уже и не болел, а был заколот вилкой.

Но при его вдове среди других ловчил
могли найти приют бывлые отщепенцы,
и помнила она, который врач лечил
ее в дни юности от скверной инфлюэнцы.

Тут не до абшида, что хочешь, то содей:
уместен костоправ при каждом костоломе!
Плевать, татарин он, арап иль иудей,
а только бы лечил, на то и деньги в доме!

Престолу нужен врач, а не придворный чин,
который без того не сеет и не пашет.
Да будь алхимик ты, да будь ты сукин сын,
да будь ты хоть шаман, который с бубном пляшет!

Уж лучше попросту сказать болезни «брысь»,
чем миру предъявлять свой пяточок кабаний,
но если хочешь жить, поди-ка подлечись,
сведи-ка, дорогой, знакомство с русской баней.

Не угадаешь тут, где купишь, где продашь,
а где и вовсе нет ни чести, ни престижа;
заметим между тем, что этот персонаж
не больно рвался-то в Россию из Парижа.

Кто время упредил – а ну давай, табань,
клади под микроскоп познаний каждый атом, –
ты, пламенный певец парных российских бань,
великий медикус с тем самым пунктом пятым.

К единой цели все стремятся напрямик,
в болезни все равны – рабы и государи,
и растворяется, мелькнув всего на миг,
туманный силуэт в тяжелом банном паре.



ПЕТЕР СИМОН ПАЛЛАС В КРЫМУ. 1794

Здесь по небу не надо читать гороскопа,
даже звезды степные тут вечно в пыли.
Полуостров отрезан стеной Перекопа
ото всей остальной европейской земли.

Здесь античность угасла, свое отработав,
и ползут бесконечные сотни годов
над сухою землей караимов и готов,
генуэзцев, армян, и татар, и жидов.

То одна, то другая тут правила раса.
Кто сочтет, сколько раз разорвались чумой,
и молитвенный дом, и мечеть, и кенасса,
и турецкая баня, что стала тюрьмой?

Но у греков и турков – ни слез, ни претензий,
здесь обычай любой уважительно стар, –
я прощусь со страной адмирала Маккензи,
удаляясь в страну беспокойных татар.

Здесь не нужен ученый, а пусть бы пиита
походил по горам и спустился к воде
там, где высился греческий город Ялита,
чьи теперь только стены стоят кое-где.

Только чаячий крик раздается в просторе,
донося неизбывную древнюю боль
в этот край, где лишь синие небо и море,
известняк белоснежный и красная соль.

Тут в Россию ползут с виноградом мажары,
и когда-то припомнят потомки пускай
то, что жили в Крыму виноделы-татары,
чье вино походило на лучший токай.

Спят руины и скалы, бывшее скрывая,
и его не внесешь на листы дневников;
здесь готический шрифт, здесь вода дождевая,
здесь последние отклики средних веков.

Тут все то же, что было, что будет вовеки,
утомительный жар и печальный настрой,
повсеместно торгуют понтийские греки,
и другого народа не видишь порой.

Камни здесь горячи, да и травы шершавы,
только море шумит, остальное мертво
в этой странной руине татарской державы,
у которой грядущего нет своего.

Кроме берега, что здесь возьмешь у природы,
коль раскинулись степью одни солонцы,
коль туманом исходят сивашские воды,
и мертвы допотопных времен крепостцы.

Можно просто лететь, не куда, а куда-то,
будто камень, который метнула праща,
чтоб остаться навеки в стране Митридата,
для себя на земле ничего не ища.

На востоке сливается даль окаемов,
и теряюсь, бессильно виденье гоня
тех времен, из которых далекий потомок
с безразличием смотрит сейчас на меня.



ЗИМНИЙ ПУТЬ

По тайгам странствуя, не встретишься с людьми.
Страшнее голода – холодная истома.
Акибка-нерпочка, скитальца прокорми,
не то на сухарях он не дойдет до дома.

Кто съел собачий корм, тот слопал и собак,
а заплутать нельзя, погибельна ошибка, –
но в зимовейке есть берёста и табак,
и есть поленница, и вяленая рыбка.

Тащиться через лес – не сахар и не мед,
тут лишь бы выбраться из ледяной утробы;
гость ничего с собой отсюда не возьмет,
перекантуется, да и уйдет в сугробы.

Всего-то мудрости – устроясь на ночлег,
из суеверия поругивать погоду,
всего-то мудрости – топить в жестянке снег
и окунать свечу в присоленную воду.

Здесь дверь отворена, и, значит, повезло,
как ни темно еще, но стоил путь усилий:
учует человек надежду на тепло,
коль заотсвечивал солноворот Василий.

Дрова расплачутся, но не ругай смолу,
и вьюгу не кори, коль за окном завывала,
и не выбрасывай вчерашнюю золу,
тебе она сойдет ничуть не хуже мыла.

Зима спокойствует, она себе верна,
погоды скверные предсказаны заране;
без сновидений спит полярная страна,
коль ей и снится что – так разве только сани.

Любой подумал бы, что амба, что труба,
но постигаешь тут, понаблюдавши вчуже:
как странно сложена российская судьба,
где если плохо все, так надо сделать хуже.

Не то, чтоб жизнь была совсем недорого,
но миги воровать – удел для попрошаек.
Лишь перед смертью тот, кто одолел снега,
нальет и помянет своих погибших лаек.



ПРАСОЛ НА МЕЗЕНИ

В треисподне торговля почище, поди;
покупатель рычит, как собака на сене;
два рубля позади, два гроша впереди;
нечем прасолу жить, вовсе сдохнуть офене.

Охилел ты, пеструшник, проначил хрустов, –
дрянь дела: ни трафилки на водку в рогожке,
коль последний бухарник допить не готов,
не торгуйся, калымник, за ленты да ложки.

Так что хватит дурить, по-людски говоря:
пропадешь и замерзнешь по первому снегу;
под Калугой с лотком ты загнешься зазря, –
расспроси про дорогу, ступай за Онегу.

Над болотцами в тундре шумит дребезда,
нет нигде ни стогов, ни снопов, ни огребья;
если все же сумел ты добраться сюда,
то поймешь, что безрыбье тут хуже бесхлебья.

Долго тянется возле Архангельска день,
но полезны душе в ожиданье предзимья
белорыбица, харьюз, лосось и таймень,
костомордый абрашка и макса налимя.

Не кори в сентябре выпадающий снег,
всё на свете собой до весны приминая;
только в красном углу пусть висит оберег,
деревянная утица, птица щепная.

Поначалу едва ли пойдут чудеса,
только прибыли тут не бывает грошовой:
до Парижа, глядишь, доплывут туеса,
холмогорские гребни из шадры моржовой.

Только паберег, только песчаный угор,
березняк кривоватый да редкий ольшаник;
виноградья не надо, доволен помор
полотухой корзанки да парюю шанег.

Возвращаться в Калугу не стоит труда,
потому как себя не укусишь за локоть, –
не уйдешь никогда, не придешь никуда,
даже если отучишься окать и цокать.

Только помни о том, что бывает потом,
только загодя ведай про долю мужскую,
только пазори будут плясать над крестом,
но и жизни не жалко за пляску такую.



БРАЛЬЩИК НА СЕВЕРНОМ

На воробьиный скок октябрьский день короче,
доволен человек, что сердце унялось,
и не страшит его приход полярной ночи,
когда на небеса взойдет Остяцкий Лось.

В Москве добычнику короткий путь на дыбу,
будь ты хоть Строганов, – подломится ледок.
Но здешнюю судьбу он вышкерил, как рыбу:
он опоморился, и больше не ездок.

Сверканье зорников схватил он, как заразу,
что излечения нет – понять немудрено;
а то, что не помор по предкам он ни разу,
так с носа Канина на то плевал давно.

Он, словно денежку, предчувствует погоду,
откуда это в нем – соседям невдогад.
Великих барышей не добивался сроду,
чуть грёхнуло трески – и он почти богат.

Чужому бральщику в вину любое ставят,
двоперстье примет ли рожденный вдалеке?
Но попрекни его – так он зевок подавит,
зане поморский гроб хранит на чердаке.

Другой с бесхлебицы орет как перепелка,
а у него в ставцах сияют, что ни день
ивановская сельдь, не жалкая двусолка,
и умба-сёмужка, не бедная мезень.

Другой посетует, что ни тепла, ни солнца,
что в мире горестей все больше каждый час,
а он не станет есть навагу без лимонца,
и кофе пьет с утра, как пьет Россия квас.

Он ведает, кому и впрямь нужны деньжонки,
добавит грош-другой тому напоследи.
А что ему копить: стареет возле жонки,
что к морю не ходок – так молится, поди.

Понеже никого в расчетах не дурачит,
старинный для себя не сочиняет род,
понеже лестовку с подрушником не прячет,
и даже в праздники спиртного не берет.

Он завершит дела хоть завтра, хоть сегодня,
давно защитные сыскавши словеса;
он душу бережет и ждет Господня взводня,
что унесет его в ночные небеса.



СЕМГА

Здесь десять берегов или примерно десять,
здесь время на века считают старики.
Здесь человек судьбу сумел уравновесить:
работать не с руки, коль не поел трески.

Здесь часто мелочи невинные запретны:
смотреть на пазыби – далёко ль до беды?
Тот не поймет, зачем так важен крест обетный,
кто в море не ходил на полных две воды.

Здесь пес охотничий – заменю оружием.
Здесь солнце движется, как белка в колесе.
Одна фамилия на всю артель семужью,
одна тоня на всех, и сыты тоже все.

Здесь вдоволь наберут харчей, снастей и соли:
на карбас ли простой, да хоть на полный шнек.
Семья, коль двое в ней – внесет две равных доли
и десять, коль в семье десятков человек.

Труд долгов и тяжел, но не настолько горек,
чтоб кто-то на него роптать хотел теперь:
знай семгу загоняй из голомя во дворик,
а отойдет вода – перебирай да шкерь.

Поморской соли в речь прибавлена щепотка,
любое слово здесь старинно и хитро:
кто ждет у берега, чтоб в сеть пошла селедка,
не скажет про косяк, а скажет про юро.

В безрыбицу канат висит тяжелой плетью,
болеют невода, и сон воды глубок,
она не движется, лишь матово над сетью
блестит стеклянный шар – норвежский поплавок.

Барышна семужка, не обери до нитки!
Молитва рыбака до жалости проста:
не так уж плохо жить совсем без верхосытки,
но только бы не жить с семьею вполсыта.

Такая жизнь сродни желанному недугу:
на четках вечности отмеривши года,
рождаться, умирать, и далее по кругу,
как рыбе, проходить, минуя невода.

Чужак, завидуешь? Тогда постой в сторонке:
увидишь ангела, что мчит под облака,
с великой нежностью корчагу самогонки
плеснув в бескрайнюю могилу рыбака.



АФАНАСЬЕВ ДЕНЬ

Прозвучал надо льдами неслышимый зов,
отбель в пазорях вспыхнула, небо окрасив.
Заглянувши на шесть или восемь часов,
наступил и окончился день Афанасьев.

Ночь полна багреца, ночь темна и длинна,
лишь, раздвинувши тучи на пару мгновений,
словно карбас пузатый, мелькнула луна,
отправляясь на ловлю небесных тюленей.

В этой тьме, где одни лишь медведи да снег,
в этом зареве красном, зеленом и синем,
возвышаясь, стоит истекающий век,
как хозяин, что гостю ответил амином.

Это памятник скорби земли и небес,
это мысль, что с годами все больше печалей,
что однажды вконец изведет косторез
кашалотовы зубы и бивень нарвалий.

Что морошка не ляжет на землю ковром,
что не станет торговых гостей у подворья,
что исчезнут вослед за царем-осетром
поставец, подголовник, ларец Пермогорья.

Что на землю падет окончательный мрак,
что былое покажется кладбищем бредней,
где умелец последний сплетает бурак
из последней бересты березы последней.

Куролесит зима в человеческом доме,
сыплет наземь беду, как капусту во штенник,
от нее откупиться уже никому
ни бумажных не хватит, ни кожаных денег.

Наступить не умея в свои же следы,
не увидишь, как ловит селедку дружина,
не минуешь проклятой болецкой беды,
не дотянешь на рыбе сухой до зажина.

...Окротевши, на Гандвик легли холода,
шевелиятся неверные льды Беломорья,
и поди прокормись среди вечного льда,
и в потемках поди дотерпи до Егорья.

Только есть и удача в подобной судьбе;
и уж точно того не пристало бояться,
что в конце доведется услышать тебе
не молчанье, а ласковый звон переладца;

И тогда ты без страха посмотришь во тьму,
к тишине и покою давно приготовясь,
а потом только дунет шелоник в корму,
и неслышно окончит последнюю повесть.



АЛЕКСЕЙ МУСИН-ПУШКИН. 1817

То была Кольна-Дона, дочь Каруля. Она видѣла Тоскара, видѣла его, и не могла не горѣть къ нему любовнымъ пламенемъ.

Дж. Макферсон. Перевод Ермила Кострова

...достигшая до насъ и одна въ цѣлости древняя пѣснь о походѣ Игоревѣ, въ которой виденъ духъ Оссиановъ...

Гаврила Державин

Жил на свете историк, довольно богатый,
президент академии разных наук,
полагавший, что в каждой бумаге помятой
сберегается древности сладостный звук,

То ли папин архив разбирал, то ли мамин,
и однажды набрел под счастливой звездой
на взорвавший эпоху старинный пергамен,
что векам возвестил о княжне молодой.

О княжне Ефросинье рассказывал свиток,
о рыданьях несчастной, – однако, увы,
графу был нанесен колоссальный убыток,
ибо свиток сгорел при пожаре Москвы.

Хоть в Москву и пришел Бонапарт издалеча,
но, как следствие более важных причин, –
тех, что списки со списками сравнивать неча, –
аккуратно устроил пожар Растопчин.

Возгремели над миром зегзицыны трели,
закипела поэзия в каждом нутре,
ибо очень уж многие свитки сгорели
в этом самом надежном российском костре.

И престиж у предания сказочно вырос,
ореолом священным сюжет осиян,
и хоть весь погори на Египте папирус,
и от зависти ты подавись, Оссиан.

С оппонентами спорить и глупо, и мелко,
также топтать бессмысленно строгой ногой
и на тех, кто твердит, что поэма – подделка,
и на тех, кто стоит на платформе другой.

Третий век с глухариным талантом токуют
итальянец, француз, гагауз и якут,
и не столько о песне великой толкуют,
сколько воду ученую в ступе толкут.

Даже вечные ценности всюду условны,
наконец, и Москва не сгорела дотла,
ну, а граф погребен у любимой Иловны,
что с любимой Мологой под воду ушла.

Романтичен усадебный образ унынья!
Преложитель Бояна, об этом прорцы!
Всё рыдает над графом княжна Ефросинья
при Мологе, упрятавшем в воду концы.

Да и пусть, – но посмотришь в потемки неволью,
и увидишь, весьма удивившись сперва:
там стоят на стене Ефросинья и Кольна,
над потомками тихо смеясь в рукава.



ИВАН ВАРВАЦИЙ. ИКРА ЗЕРНИСТАЯ БЕЛУЖЬЯ ОТМЁТНАЯ. 1817

Море Эгейское спит, затуманясь.
Через покровы пылающей тьмы
в утлой шебеке плывет Иоаннис
турок приветствовать возле Чесмы.

Море для грека – вторая натура,
светоч в удаче, опора в беде.
Что же ты, розовоперстая дура,
хочешь увидеть в горячей воде?

Тут и планета покажется плоской.
Адом покажется вражеский стан.
Злобе чесменской и злобе хиосской
выхода ищет турецкий султан.

Он обойдется без лишних нотаций.
Коль не сгорел на своем корабле,
так вот и жди, Иоаннис Варваций,
смерти иль выкупа в Едикуле.

Ясно, что здесь не дождешься комфорта.
Воздух в мучилище – будто рассол.
...Лишь слегонца поторгуется Порта:
выкупит пленника русский посол.

Топай до Питера, пасынок нищий,
помни, что ящик Пандоры разверст.
Только и флейта все громче и чище
с каждою тысячей пройденных верст.

Что ж, на дорогу хватило силенок.
Да и царица довольно щедра,
и черт-те что получил Соколенок
вместо хотя бы кола и двора.

Но пусть проглочена будет досада,
примем подарок, закажем салют:
чтоб не навесили то, что не надо
брать полагается то, что дают.

Жребий подбросил дырявую лодку,
голую доску, пустую кровать.
С водки на рыбу и с рыбы на водку
перебивайся, решив торговать.

Так и остался бы мелкою сошкой,
но увидал, замечтавшись слегка:
что-то едят деревянную ложкой
парни, сидящие у костерка.

Сделался воздух соленым и пряным.
Будьте любезны узнать, господа:
это хорошая закуска дворянам,
это купцам рядовая еда.

Если волхвы не выходят из леса,
не направляются наперерез, –
значит, не любят они Ахиллеса,
ибо довольно богат Ахиллес.

Думает вечность нелегкую думу:
чем заплатил ты подобной судьбе?
Только канал, приводящий к Кутуму,
нынче один благодарен тебе.

Не за одни лишь былые заслуги
и не за Анну на левом плече –
но за Кастальский дворец, где белуги
плещут хвостом в икрометном ключе.

Славная рыбка, плещись на здоровье,
ты бы поглубже к себе уплыла,
пусть-ка потомство живет осетровье
и разорятся к чертям промысла.

Что благодатнее вечных вакаций?
Вот и поспи до известной поры,
греческий подданный Ваня Варваций,
праведник черной российской икры.



ЖАННА ДЕ ЛА МОТТ. МИЛЕДИ. 1826

От истории годы оставляют обрезки.
Я пишу эти строки – надоело враньё.
Знать желают народы: что за бред про подвески
сочинил недалекий кардинал Ришельё?

Без малейшей причины лишь одним мушкетерам
весь народ рукоплещет, нетерпеньем прогрет, –
а ведь эти мужчины – только фон, на котором
отрицательно блещет сей изящный портрет.

В нетерпенье дурачком или маясь похмельем,
к счастью или же к худу, не протянешь века.
К тем брильянтовым цацкам, а не то к ожерельям
так и рвется повсюду воровская рука.

Чем ломиться в анкету – лучше зубы на полку.
Если тратишь гинею – не тоскуй о гроше.
Нет управы на эту похотливую телку,
и не путался с нею разве только Планше.

...Неужели болтаться, дорогая миледи,
так уж сильно хотите на ближайшем суку?
За покойного братца не дадут мараведи,
отказавши в кредите, вставят лыко в строку.

Наступила развязка, и с графиней историк
обошелся сурово, документам вослед,
и останется сказка без античных риторик
и без акта второго Марлезонский балет.

Дремлет дьявол в горниле и жужжит будто овод,
уж ему-то приятно, если кто-то погиб.
Ясно, бабу казнили: но зато вот, зато вот
никому не понятно – кто ее прототип.

Есть ли баба прекрасней, чем вот эта злодейка,
что в роман знаменитый проскользнула тайком?
Не из песни и басни, а с картины ван Дейка
смотрит дурой набитой с глуповатым смешком.

Но прибегнем к замене, никого не пугая:
есть законы у козней, и не каждый – подлец.
Появилась на сцене кандидатка другая,
много более поздний хитроумный бабец.

Снова – кража и смута, обвинение остро,
весь Париж лихорадит, занесен ятаган.
В неприятности круто залетел Калиостро,
и с короной не ладит кардинал де Роган.

Тот, кто гадит немножко – хоть немножко, да гадок,
Обвинение – в силе, да судья – обормот.
Хоть и найдена ложка, но остался осадок,
кардинала сместили, заклеями Ламотт.

Позабыты караты за большим мордобитьем,
на державное тело покушаться слабó.
Воцарились Мараты, и всемирным событием
ожерельное дело объявил Мирабо.

Но у нашей графини не отыграна карта.
В Петербург, чуть попозже, приплелась, как домой,
в роли дивной богини, обогнав Бонапарта,
и при этом, похоже, не с пустою сумой.

И решила миледи, из России – ни шагу!
Лучше сгинуть от шквала, чем вернуться в тюрьму.
При горе, при Медведе, поклонясь Аю-Дагу,
долгий век доживала в благодатном Крыму.

Что ж, ломание копий на капризы отпишем,
ночь бывала кромешна, как предсмертный кошмар.
Чтила греческий опий, утешалась бакшишем,
в православье успешно обращала татар.

Всех, короче, затмила, из истории выпав,
словно чувство шестое в ней проснулось на миг:
словно шило на мыло, разменять прототипов –
это право святое сочинителя книг.

И не верят поныне никакие соседи,
что не очень от света отличается тьма,
что в таврической глине схоронили миледи
точно так же, как где-то на странице Дюма.



ГЕНРИХ ГАМБС. 1831

Тому кто мир творит, в нем неизбежно тесно;
свобода творчества пред временем слаба.
Но знает виртуоз, когда и что уместно –
где хорошо литье, а где нужна резьба.

Кто постарался жить как можно незаметней –
пускай хоть малый след оставит в маркетри,
по счастью – Петербург дарует ночью летней
возможность рисовать до утренней зари.

Бесценен махагон для камертонной деки –
но если он чурбан, то грош ему цена.
Вся слава Рёнтгена осталась в прошлом веке,
однако мастеру и подпись не нужна.

Великий Чиппендейл нигде не экономит,
к чему художнику искать другой пример?
У императоров ничто карман не ломит,
и можно двадцать лет убить на секретер.

У правого плеча Господень соглядатай,
и посему всегда уверенна рука:
тому, кто не рыдал над грушей свилеватой,
витувианского не сделать завитка.

Одно лишь правило, как прежде, так и ныне:
начнешь десюдепорт иль зеркало-псише –
трудов на целый год, зато презент княгине,
и, стало быть, у всех спокойно на душе.

Берясь за палисандр, его не исковеркай,
не размышляй, кого ты по миру пустил;
а кто там за любовь расчелся жардиньеркой,
тот сам подумает, кому переплатил.

Цари сменяются быстрее, чем гарнитуры,
чуть коронация, и тут же рвется нить,
но рафаэлены приветствуют амур
того, кто секретер способен оценить.

Уж потому, что кап хорош для интерьера,
придворный поставщик избавлен от невзгод;
мечта, а не заказ, – да только вот холера
на осень выпала в тот окаянный год.

Пусть все отделано и правильно обшито,
но по земле метет опавшую листву,
но мастер отошел в край вечного самшита,
и Пушкин снова сжег десятую главу.



СТЕПАН МИХАЙЛОВ. 1846

Утихает природа, жару выдыхая,
наступившая ночь коротка и темна,
и почти не колеблется ветка сухая,
непреренно сухая для песни нужна.

Тут названья не надо писать на табличке:
меж бушующих майских кустов бирючин
соловей драгоценной старинной поклички
к перелету кукушки подводит почин.

В эти миги легко повредиться в рассудке,
только вслушаться душу свою приспособь
в эти пульканья, пленканья, лешевы дудки,
водопойную россыпь и громкую дробь.

И певцы голосисты, и листья росисты,
и внимающий пению числит в уме
стукотню и желну, оттопочки и свисты,
чуть не сорок колен различая во тьме.

Шелестит бирючина, и запах неистов.
Темен Тускари влагой наполненный лог.
И налажен умело для лучших солистов
у Степана Михалыча верный силок.

...Жаль, что это мечта: век отпущенный прожит,
вся судьба умещается в несколько слов:
нынче больше до Курска доехать не может
на Бутырках живущий старик-птицелов.

Соловьи – утешение дней стариковых,
и певца, у которого трель хороша,
никому не продаст и за двести целковых,
хоть бывает – неделю сидит без гроша.

Так вот он и живет, повинусь закону:
то, что радует слух – безразлично для глаз.
Так знаток лишь мгновенье глядит на икону,
узнавая манеру, письмо и левкас.

Тут все то же: он ведатель тайного знака,
не обманет его ни один продавец,
для него никогда не поют одинако
ярославский, и тульский и курский певец.

...Чище пламя души и природа понятней,
если ждешь, затаивши дыханье во тьме,
и единою кажется мир соловьятней,
что слилась воедино в любой уреме.

Только песня звенит, затихая в просторе,
только кроткие звезды сверкают с высот,
те, которыми выслан, как темный киворий,
упоительный курский ночной небосвод.

И, от мысли о смерти легко отвлекая,
эта песнь никому не пророчит беду,
и, как кем-то отмечено, песня такая
будет вечно звенеть в соловьином саду.



ГРАФ ЯНУАРИЙ ТОЛСТОЙ. 1846

Время – не враг, а всего лишь лазутчик,
путь его тягостен и бестолков.
Платовский двадцатилетний поручик,
мог бы ты сгинуть в колодце веков.

Добропорядочный граф Януарий,
воин, помещик и аристократ:
ты согласишься, что опасный сценарий
выбрал для жизни твой бешеный брат.

Брат, из судьбы сотворивший качели,
к гибели часто спеша на блины,
бит никогда не бывал на дуэли
и ускользал от ловушек войны.

Высажен по капитанскому знаку,
с берега выл и хулил небеса,
съесть собирался родную макаку,
за неимением любимого пса.

Он, нахлебавшись последствий изрядных,
ветер фортуны лова на лету,
перебиваясь в краях людоядных,
был разрисован цветными тату.

Тут не сгустить бы ненужные краски:
не упустить бы мозги за кордон,
ибо Толстых и макак на Аляске
обороняет святой Спиридон.

Глянь – и тебя, и беспутного братца,
целит судьба отоварить под дых,
ибо не хочет она разбираться:
пара Толстых – или пара гнедых.

В споре про ваше семейство, ей-богу,
кто бы поставил проблему ребром:
все же твою или братнюю ногу
ухнуло в битве французским ядром?

Спьяну не стоит плясать на шаланде,
слухов и сплетен хватает с лихвой.
Все перепутал Ивашка Липранди,
пивший с тобой или с ним под Москвой.

Может, поставим события рядом
и через миг подивимся вранью:
брату заехало в ногу снарядом,
пулей контузило ногу твою.

Вечно туман в головенках у Ванек,
да и потом городил чепуху
дикую ваш травоядный племянник,
миру всему предъявивший соху.

Взявши в бретерстве последнюю планку,
перед потомками встав на дыбы,
брат обезьянку сменял на цыганку,
лихо пляша под волынку судьбы.

...Так вот и тянутся пляски, о коих
глупый племянник сказать бы не мог.
Так вот и слышится в гулких покоях
грохот гусарских контуженных ног.

Больше никто не ответит на вызов,
и сатисфакции больше не жди,
синяя птица с далеких Маркизов,
феникс на голой толстовской груди.

СТРАННИКИ В НОЧИ

Что известно двоим – то известно свинье,
чист ли ты, как стекло, или пьян как сапожник.
О почтенном Дюма и о мэтре Готье
повествует старинный двенадцатисложник.

Для начала о том, кто душою велик,
кто, скитаясь по трактам от Питера в Потти,
разглядит воровство, малахит и шашлык,
и великую мощь православной щепоти.

Кто расскажет о горькой судьбе городов,
где народы живут, только водкой спасенны,
про медвежью охоту наврав сто пудов,
промолчал о судьбе эполета Массены.

И о том, как богат новгородский купец,
и о том, где достаток и где недостаток,
и о том, как приятен российский скопец,
и какие профиты от красных перчаток.

И о том, как повсюду неграмотен люд,
как опасна в России царева немилость,
и о том, как прекрасен грузинский верблюд, –
обо всем, что ему на востоке помстилось.

Но однако же – две головы у орла,
так что пусть и другая предстанет картина,
чтобы юность в грядущем спокойно могла
не читать несъедобную книгу Кюстина.

Будут факты и мысли довольно верны,
но состроишь гримасу и тут поневоле,
прочитав о красотах кремлевской стены
не иначе как прямо на Марсовом поле.

Но читать и приятно, и даже легко,
как размеренно падают в русскую глотку
чуть не все виноградники тети Кликко
под колбаску, ветчинку, стерлядку, селедку.

Здесь цыгане поют, здесь покой и уют,
потому и уместно рассказывать дале,
как повсюду в России к столу подают
то, чего россияне вовек не едали.

Как отрадно постичь в этом чуждом доме,
что, на зависть парижским писательским стаям,
много проще писать о России тому,
кто в России читаем, иль просто листаем.

...Тут себе позволяю ремарку одну,
не в обиду тому, кто писал мимоходом,
все же вряд ли разумно любую страну
постигать не умом, а одним пищеводом.

Хорошо рассуждать, коль живешь вдалеке,
мол, не просто, а прячась под крышкой короны,
сотни лет для кого-то кипит в котелке
двухголовый птенец византийской вороны.

Так что по лбу себя, драгоценный, не бей,
ибо эта зверюга – серьезного вида.
И последний совет: не кричи «воробей!»
если видишь, что мчит на тебя стимфалида.



ДВЕ МАКАРЬЕВНЫ. 1860

Беда Макарьевнам, и Ольге, и Матрене!
Сколь ни усердствуйте в молитвах по церквам –
что в лужу шлепнетесь, что сядете на троне,
всё в пустосвятихах обозначаться вам.

Понятно, у сестер характер не подарок,
так не на них одних нигде управы нет,
но вот чтоб их найти среди нянек и кухарок –
так оторвать язык за эдакий совет!

Есть у молитвенниц по ключику от рая,
а там, в раю, для них – родимый домострой.
Кто первая из них, а кто из них вторая?
А, может, вовсе нет ни первой ни второй?

Какая-то из них всегда придет и примет
не подаяние, но плату за труды:
благословит сундук и сглаз с невесты снимет,
вдохнет в приданное отсуху от беды.

Для свадьбы – талисман всегда наизготовку,
в мешочек вышитый кладут наверняка
соль четверговую и макову головку,
лоскутик шелковый с кусочком чеснока.

Внушительна сия фигура щегольская,
во всех решениях она – как член семьи.
Какая-то из них – а вот пойми, какая? –
с любимым девишником горазда гнать чай.

Струится дым кадил, стыдбой глаз не выев.
От бабьей наглости захватывает дух.
Грядет Макарьевна на богомолье в Киев, –
и не поймет никто – которая из двух.

И с ней увечные: слепцы с поводырями,
обрубки жуткие кто драки, кто войны,
с гнилыми язвами, со рваными ноздрами,
безногие скопцы, немые горбуны.

Их не сочтет никто: ну, разве для порядка.
Подобная орда не обратится вспять.
Запишем: странников – всего-то два десятка,
всего десятка три, четыре, или пять.

И мерзок вид толпы, и тошнотворно жалок,
зато Макарьевна блаженствует зело.
И к новолетию, под стук костей и палок,
три сотни человек до Киева дошло.

Старуха лыбится немислимою харей,
какую не сыскать меж тухлых упырей.
Тут вспомнишь пастуха по имени Макарий,
что сдуру наплодил подобных дочерей.

О нем подумавши, припомнишь следом мать их,
а также и телят, что выросли в быков,
а заодно и всех российских пустосвятих
чьих матерей любил поэт Иван Барков.

Кто душу в них нашел, ее немедля сцапал.
Удобно пользуясь ночьюю темнотою,
две черные свечи старухи ставят на пол
и долго молятся, воззрясь в киот пустой.

Пусть регистрируют приверженницы шайки
не просто каждый вздох, но даже каждый чих,
и сочиняют пусть восторженные байки
о славном подвиге спасения купчих.

Не надо ничего описывать и трогать.
Ну, черный властелин, на землю поспеши.
А впрочем, что просить: ты лишь протянешь коготь,
и обе приберешь чудовищных души.



ВСЕВОЛОД КОСТОМАРОВ. ФОРЕЛЬ. 1865

Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла...
Причудницы форели в ней мчатся, как стрела.

Кристиан Шубарт. Форель.

Перевод Всеволода Костомарова

В начале и в финале – одна и та же тьма.
Выходит, мы не знали про горе от ума!
Ни ряса, ни сутана безумца не спасут.
Блестящего улана не оправдает суд.

...Веселье, разговоры: гвардейский воротник,
савельевские шпоры, невероятный шик.
Шампанское, улыбки, счастливая пора,
немыслимые штрипки Савельева Петра.

Но, коль не больно ловок – не тереби звонок.
Не сочиняй листовок, коль скоро ты щенок.
С тобой лишь поиграли, сажая в равелин.
Ну да, сидишь в центре, так, чай, не ты один.

Кто водит хороводы, так тот и коновод.
Уроды и юроды – один большой народ.
От Писарева-хайла весь Петербург продрог.
Микола и Михайло отправятся в острог.

Ненастная погода, туманы и дожди.
Коль ты не из народа, туда и не ходи!
В его гнезде осином доносы нарасхват.
Кто пахнет керосином, тот сам и виноват.

Смолкают птичьи трели, печален разговор.
Совсем не до форели, коль ропщет птичий двор!
А кто тут птица филин, а кто петух-индюк?
Тут сам святой Путилин предчувствует каюк.

Тут не процесс, а пытка для чаек и ворон.
Одна живая нитка, при этом с двух сторон.
Так стоит ли усилий усугублять беду
десятками фамилий, придуманных в бреду?

Зачем ходить кругами: мол, непонятно, где
тут Моцарт в птичьей гамме, где Шуберт на воде?
Скажите просто гаду, мол, ты бухой вампир!
Какой тут Шуберт, к ляду, какой такой Шекспир!

Срываются шевроны, нечистая игра.
Серебряные звоны без грамма серебра*.
Финал перепродажи, и весь доход таков,
монет не тридцать даже, а пара медяков.

...Все тихо в мертвом доме, и все чернее сны,
и слухи о саркоме уже подтверждены.
Окончены уроки, застелена постель,
и плещется в потоке бессмертная форель.

* Технически именно сыщик И.Д. Путилин и посадил в острог упомянутых Михаила Михайлова и Николая Чернышевского.

Серебряные шпоры серебра не содержат (таковое не звенит).

ПЕТР КИРИЛЛОВ. ОКОЛО 1870

Петр-Кирилыч, Петр Кирилыч, слободчанин-угличанин,
прекрати в бумажку тыкать, перед публикой шаля.
Виртуоз-перемудрилыч, овощ наш белокочанен,
если сдачу смог заныкать – так не более рубля.

Утомившись не впервые, все таскаешь до упада
коньячок, да под стерлядку для московских воротил.
Если прячешь чаевые – значит, поделиться надо,
ну, а если спер десятку – так пятерку возвратил.

И никем-то не ругаем, ты слугою безотказным
был, как витязь на картинке, во трактире дорогом.
Управлялся с расстегаем, как не снилось прочим разным,
и сходился в поединке с байдаковским пирогом.

Ты по первому же знаку от буфета мигом двигай:
жди удачи от фортуны и переходи на бег,
но не грохни кулебяку с осетриной и с вязигой,
или самовар латунный на пятнадцать человек.

Коль запахло перегаром – половые помоложе
гостю вмиг на стол поставят водку, пиво или ром.
Говорят, что все – задаром, а попозже энтой роже
петр-кирилыча заправят, помянут тебя добром.

Всякой сделке сердце радо – а купчина редко скаред.
Крупный тут заказ иль мелкий – брысь с подносом в кабинет.
Кто с удачного подряда полового не одарит?
И гремит в твоей тарелке колокольный звон монет.

Длится пьянка, час десятый, вечер тянется морозный,
гость, полнейший недоумок, и не знает, кто таков
этот тестовец мордатый, предъявивший счет серьезный –
сто рублей за тридцать рюмок и пятнадцать пирожков!

Ты берег свои таланты, на насмешки невзирая,
никому ничуть не ворог, ловко бегал по кривой,
не пошел в официанты, рестораны презирая,
ибо знал, насколько дорог расторопный половой.

Ах, как ловки были слуги, как подать на стол умели,
но подобные картины прошлым сделались, увы.
Светоч хрена и белуги очумел от бешамели
и в родные палестины мирно съехал из Москвы.

Как стареющие волки, годы тащатся устало.
Ты скучаешь, изучая – где бы выискать жену,
и жалеешь, что на Волге вовсе разинцев не стало:
вот бы в качестве на-чая взять персидскую княжну.

Время ручкой помахало, больше нет красивых жестов.
Смерть готовится нагряться, призадуматься пора:
ведь терпел тебя, нахала, многоумный Ваня Тестов,
чтоб сбегались люди глянуть на Кирилыча Петра.

Оказалась жизнь – уликой, но завидуют потомки:
нас в волненье повергая, вилокй правя, как веслом,
ты в канун войны великой удаляешься в потемки,
свесив ноги с расстега, растворяешься в былом.

ПАРОХОД «САМАРКАНД». 1881

Шел корабль, своим названьем гордый.

Борис Слуцкий

Для барахтания в илистом ручье
не годятся баркентина и шаланда.
Шел колесный пароход по Сырдарье,
под названьем «Королева Самарканда».

Перед нами – ординарный эпизод,
может, вовсе и не важный для народа.
Это был вооруженный пароход,
но декхане не боялись парохода.

Для пустыни – что снаряд, что бумеранг.
Вряд ли нужен броненосец для Арала.
Не надеялся аральский кавторанг,
что дослужится до званья адмирала.

Не ходил он в слишком дальние края,
он командовал почти что плоскодонкой.
Да и то сказать, что в целом Сырдарья
проиграла бы в сравненьи с Амазонкой.

Пароходик шел почти что наобум,
половодие заканчивалось буйно;
но герой наш, рассекая Кызылкум,
скособоचाсть, сел на мель нитпрунинууйно.

Обхохочешься в подобном шапито!
Жаль, на клоунов и прочих капитала
не хватало капитану, но зато
чувства юмора на многое хватало.

Выход найден был, притом весьма толков:
капитан, служа традициям и праву,
всё довольствие для храбрых моряков
расписал согласно счетному уставу.

Кто на судне командир – с того и спрос,
так что лучше ты с советами не суйся
и не смей под страхом карцера, матрос,
засмеяться в гордый миг поднятья гюйса.

Крайне строго велся вахтенный журнал,
все на судне хоть за что-нибудь в ответе,
неохота попадать под трибунал,
если двинутся войска от Ак-Мечети.

Чтоб внезапность исключить наверняка,
капитан глядит в бинокль и курит трубку:
вдруг дредноуты придут из кишлака
и устроят мореходам мясорубку.

Отвлекаясь на учения порой
и законы соблюдая до упора,
года два наш скособоченный герой
простоял, подобно крейсеру «Аврора».

И поныне, в череде былых легенд,
так и высится божественный избранник,
нашей доблести незримый монумент,
кызылкумский незадачливый «Титаник».



МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИЙ.
МЕХМЕД САДЫК-ПАША. 1886

Как старый лес грустит, внезапно обесптичев,
как в поле без коня тоскующий казак,
так без Чайковского печален град Бердичев, –
тут не заменю ни Конрад, ни Бальзак.

Всего тринадцать верст от той еврейской Мекки:
оттуда краток шлях до родины его.
Возможно ли забыть об этом человеке?
Он для предателей ужель не божество?

Уж лучше бы смолчал и с горя тихо помер,
а не стрелялся бы позорно с бодуна, –
и без Чайковского тоскует град Житомир
и третья юная, неверная жена.

Кто все-таки он был? Где воевал, где дрыхал?
Где жен чередовал? Где набивал кошель?
Не то чтоб Михаил, скорее польский Михал,
мукаррабун Микал, Михайло и Мишель.

Парижский артишок, стамбульский красный перец,
муслиским золотом подкованная вша,
в мечетях и церквях мелькавший троюверец,
турецкий генерал Мехмед Садык-паша.

Айранщик при козле и при коне кумысник,
доильщик при быке – вот, в сущности, каков
России-матушки старинный ненавистник,
военачальник всех турецких казаков.

Способный выбраться хоть из дерьма во фраке,
хоть мокрым из огня, хоть из воды сухим,
умелец дерзко бить давно убитых в драке, –
воитель «кто как Бог», иль «ми кмо элохим»?

Ни слова ни о ком дурного не провякав,
всю жизнь в любые лез безумные дела.
Не зря практичный дед, спасавший гайдамаков,
воспитывал его как гордого хохла.

Умевший процветать в любой удобной вере,
он нашивал кресты на белые чалмы,
и тем известен стал, что на его фатере
Мицкевич опочил, скорбя в канун зимы.

Кто знает, сам писал иль просто негра нанял,
он даже в старости не прозябал в тоске
и дюжину томов шутя награфоманил
на вроде бы родном шляхетском языке.

Благонадежный шут, ислам принявший Станчик,
парижский контрабас, балканский тулумбас,
фрукт экзотический: бердичевский дворянчик,
на дубе выросший кошмарный ананас.

Слюну роняющий при каждой дискобольше,
черты оседлости погромный автохтон,
предатель Турции, предатель даже Польши,
гречанкой преданный всего-то за пистон.

С дворянских свергнутый претензий и ходулей,
в дому приятеля седой поджавши хвост,
дерьма кипящего не охладивший пулей,
лишенный и жены, и права на погост.

А нет бы поискать еще одной женитьбы?!
Да только вот Господь рассудок отобрал,
и удаляется во адовы селитьбы
сей обесчещенный рогатый генерал.

ОСИП ЧЕРНЫЙ*. ТРЕХПОЛУШКОВАЯ ОПЕРА. 1892

Ты не спрашивай, куда их гонит кнут беды.
Рад приветствовать невзгоду голый, как сокол.
Тот, кто смыслит в сиволдаях – враг простой воды:
падок на святую воду нищий богомол.

Закипает сторублевкой гривенный ручей.
Детской лапкою проворной вычищен карман.
Царствует над Серпуховкой кесарь щипачей –
знаменитый Осип Черный и его шалман.

Процветает славный Осип, дел невпроворот:
тут что шкет, что уголовник – а опять же, грош.
Кабы дело было в спросе б, так наоборот:
тут харчевня, тут клоповник, тут не пропадешь.

Здесь наседок примечают, так что будь здоров.
Здесь майданщики жируют, и при них бабьё,
Здесь умело обучают юных шниферов.
Осип Черный тренирует юное ворьё.

* Популярный журналист конца позапрошлого века А.Свирский, изучавший жизнь «дна» изнутри (для чего облачался в тряпье и посещал периодически злачные места), опубликовал в газете «Россия» в 1900 г. ряд статей под названием «Московская голь». Он описал обнаруженную им в Москве еще в 1892 г. и действовавшую на протяжении многих лет «школу нищих». Ее содержал под видом постоянного двора некий человек по кличке Осип Черный. Заведение находилось за Серпуховской заставой. В нем в чайной «без крепких напитков» тайно торговали водкой, тут же были «харчевня» и «клоповник» (ночлежный дом). Осип Черный являлся как бы антрепренером громадного нищенского предприятия – укрывая лиц, незаконно проживавших в Москве, он изымал у постояльцев значительную часть выручки и богател с каждый днем.

Подыщи любых сословий хворого мальчика
иль найди среди ярыжек мамок и папань,
ну, а тот, кто потолковей, не сбледнув с лица,
из капустных кочерыжек делает шампань.

А другой поставит кружку, он себе не враг,
у него простой обычай – плакать про семью.
Собирает на косушку, яко благ и наг,
и приперчивает притчей болтовню свою.

Любят люди побирушек, хоть и бьют порой.
Много надо ли для пьянки, вот и не скучай:
набери кошель полушек, разживись махрой,
будут водка, и баранки, и богатый чай.

Для врагов недосыгаем дудошник, гусяр,
упиваясь дармовщинкой, в холод босиком,
бродит с драным попугаем русский савояр,
то с морской ученой свинкой, то ли с барсуком.

Должность бабе незамужней – возле общака,
чтоб, коль выпадет монетка – так немедля в крик.
Чем ты старше, тем ненужней, сказка коротка.
Много лучше малолетка, нежели старик.

Так и надо обормоту, севшему в вагон!
Хвост зеленый и послушный тянет паровоз.
Тут берется за работу и берет разгон
славный мастер поездушный, сущий виртуоз.

В жизни ты найди, небога, хоть какой-то прок,
но следи, нужна сноровка, не испорти трюк:
зарабатывает много, кто совсем без ног,
но просить не больно ловко без обеих рук.

Береги, дружок, удачу дела своего,
попадешься ты едва ли, ежели в былом
за профессию щипачью и за мастерство
школа Осипа в подвале выдала диплом!

От корчмы поход недолог до другой корчмы,
не к цыганам и не «Яру» ты гоним судьбой,
и, задергивая полог на пороге тьмы,
скажет вечность савояру: твой сурок – с тобой.



ВОЛЬДЕМАР ВИТКОВСКИЙ. ИГРА В ФАНТИКИ. 1901

Вадиму и Федору

Недоказуема бывает теорема,
коль нет задания, так и решения нет.
Мой прадед фантики печатал для Эйнема,
и то же самое чуть позже делал дед.

На этих фантиках сверкали фейерверки,
и столько радости плодили меж людьми
вполне доступные ландринки и цукерки,
«Кис-кис», «Метелица» и «Ну-ка, отними».

С родней двоюродной не выдержал разборок,
построил фабрику на месте на пустом.
Всю жизнь мне думалось, рабочих было сорок,
а нынче выяснил, что тысяча с хвостом.

Вторая гильдия – не что-нибудь, а что-то.
Нужны подробности – вниманья удостой.
Где деньги крутятся, там ни к чему литота:
век девятнадцатый, год семьдесят шестой.

Кто нечто делает, тот не никто, а некто,
все получается, коль скоро есть чутьё.
У Жоржа Бормана всегда была конфекта,
а у Витковского – обертка для нее.

Свою профессию он знал еще в утробе
и с ней, любимую, отправился во гроб.
Он строил правнукам сплошное «Лоби-Тоби»,
но вышло всякое, да только не тип-топ.

Не знаю, надо ли расписывать отдельно
все то небольшое, что знаю от отца:
то «Мавритания», то «Эрмитаж», то «Стрельна»
служили прихотям московского купца.

Я тему вечную обжорства не мусолю:
но был величествен когда-то для меня
рассказ, как дедушка решил покушать вволю –
съел поросеночка и проболел три дня.

...Десятилетия прошли, как кровь по венам,
по Петербургскому любимому шоссе,
свалили правнуки по Франкфуртам и Венам,
и хорошо еще, что все-таки не все.

Не очень мощную, но все-таки когорту
семья старинная империи дала,
неспешно двигаясь не к черту, а к Лефорту,
где все кончаются события и дела.

Здесь послесловие напишется едва ли,
затем, что общие исчерпаны слова,
затем, что тянутся все те же трали-вали, –
однако все-таки совсем не трын-трава.



НИКОЛАЙ СУДЗИЛОВСКИЙ. АЛОХА ОЭ. 1902

Жене Лукину

Такая синева, что просто стыд и срам.
Но миг прошел – и тьма ее переборола.
И песнь, всегда одна, звучит по вечерам:
над берегом поет гавайская виктрола.

Прилив спокойствует, и только иногда
акульки плавники блестят среди лукоморий.
Здесь сахарный тростник, вулканы и вода.
Ну да, конечно же, забыл про лепрозорий.

Да и герой у нас не идеально чист:
мы смотрим на него и только нервно курим.
Не то чтоб он беглец, не то чтоб журналист,
он по профессии блажной крушитель тюрем.

Что в прошлом? Могилев, арест и вновь арест,
нужна профессия какая-никакая,
и доктор второпях покинет Бухарест,
к фамилии Руссель поспешно привыкая.

Эллада, Альбион, – сплошное шутовство,
полезет первым он в любую группу риска.
Он вечно мечется, и странный путь его
похож на улицу кривую в Сан-Франциско.

Он пользы никакой вовеки не видал
ни в «здравствуйте» простом, ни в ласковом «алоха».
Коль что-нибудь не так – то сразу же скандал,
а если всё путем – то это вовсе плохо.

Он может повторять и десять раз, и сто,
чтоб истину свою вдолбить в мозги народа:
бороться с чем-нибудь, и все равно за что,
и даже ни за что, но все равно бороться.

Видали мы таких слепых поводырей:
мол, поведу на бой, да никого не трону.
Куда Желябову, что лишь менял царей –
а этот смог бы сам легко надеть корону.

Хоть он и победил, однако хмур не зря,
поскольку чувствует, да только он один ли, –
запахнет жареным в начале октября,
коль скоро в Баффало прикончили Мак-Кинли.

И это для него весьма серьезный знак.
Акула может съесть – но могут съесть акулу.
Придется позабыть о счастии канак,
придется наскоро сбежать из Гонолулу.

Но в вечном драпанье, похоже, что-то есть,
что можно посчитать для всех огромным благом,
поскольку персонаж не сможет предпочесть
архипелаг один – другим архипелагам.

Дальнейшая судьба – пуста, как чистый лист.
Собою и себя, и всех других измаяв,
в историю войдет наш славный скандалист
как первый президент зависимых Гавайев.

История темна и призраков полна,
мелькнут всего на миг – и рушатся в былое.
Реверберирует гитарная струна:
прощай, дружок, прощай, прощай: алоха оэ.

ВЕРНЕР ЦЕГЕ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬ. ПУЛЯ В СЕРДЦЕ. 1903*

Кто и отколе, куда и доколе,
характеристики не подберу.
Русское имя, как русское поле:
Цеге-Мантейфель, прошу ко двору.

Век и тяжел, и обидно недолог.
Тайную дверцу на миг приоткрой,
Цеге-Мантейфель, хирург-кардиолог,
темного времени поздний герой.

Ибо, мои дорогие коллеги,
можно уверенным быть до конца:
сердце, врученное доктору Цеге
больше уже не боится свинца.

Ставится многое нынче на карту,
десятилетия в былое плывут:
города Юрьева городом Тарту
в городе Дерпте еще не зовут.

Годы продлить перед вечной разлукой –
в этом и есть назначенье врача,
и потому не одною наукой
занят профессор, страдальцев леча.

Знает профессор, что кровь – не водица
в доме своем и в чужой стороне;
знание такое весьма пригодится
в будущей дальневосточной войне.

* В 1903 г. во время русско-японской войны Вернер Генрихович Цеге-Мантейфель едва ли не первым в мире успешно произвел операцию по поводу огнестрельного ранения сердца с извлечением пули.

Скверная в мире сегодня погода,
но не мешают врачебной судьбе
восемь столетий баронского рода
с черным орлом в благородном гербе.

Знанию дворянство никак не препона,
ибо кровавые стрелы лучей
мечет зловещее солнце Ниппона
на санитаров, больных и врачей.

Стонет земля и грохочет железо,
разве что скальпель – как меч-кладенец.
Есть у войны лишь одна антитеза:
сердце живое – и мертвый свинец.

Гибель ощерилась пастью акульей,
только, судьбу удержавши в горсти,
сердце, задетое вражеской пулей,
доктор однажды сумеет спасти.

Глеет огонь непогашенной злобы,
чашу печали не выпить до дна.
Надо ли думать, что быть бы могло бы,
если бы вдруг не случилась война?

Кончился век в санитарном вагоне,
и господин остается слугой:
пуля бессильно лежит на ладони,
сердце лежит на ладони другой.



ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ.
ТРАНСВААЛЬ – ШАХЭ. 1904

Приехал Крюгер – и уехал мигом,
отговорив привычные слова.
...Кто хочет о войне судить по книгам,
пусть полежит в траншее года два.

В последний час республику Оранье
готов спасать российский апатрид,
зачем ему подобное старанье –
об этом он ни с кем не говорит.

Тут европеец, всю страну облазав,
со страхом осознает до конца:
здесь больше, чем булыжников, алмазов,
а злата больше, нежели свинца.

Вот потому-то поступь и чеканна
у англичан, идущих в глубь страны.
Слон, носорог и антилопа канна
им ныне козырять обречены.

Всем черномазым, желтым, краснорожим
одна судьба, но проще бы врагу
управиться со стадом носорожьим,
чем вот такой народ согнуть в дугу.

Не всякого, выходит, подневолишь,
а подполковник все переиграл:
для тех, кто дома – журналист всего лишь,
зато для буров – полный генерал.

А ты бы хвост, любезный, не наперчил
тому, кто залезает в твой же дом?
Не зря же гнусный тип, какой-то Черчилль,
в мешке с углем сбежал с большим трудом.

Боялся за намыленную шею,
и даже знает, что боялся зря, –
зато для тех, кто изобрел траншею,
теперь изобретут концлагеря.

Пожалуй, пятна вовсе и не пятна,
да и вина, выходит, не вина.
Гора с горой не сходится, понятно,
зато с войною сходится война.

Одна судьба, выходит, у военных,
и грош цена намереньям благим,
а есть ли толк в Цусимах и Мукденах –
об этом размышлять уже другим.

Мозаику военных анонимов
вовек не проследишь по букварю.
Но Крюгер вспомнит, кто такой Максимов,
и отошлет пятьсот рублей царю.

Не мелочь ли? А, впрочем, Бога ради:
все мелочи в истории важны –
и уделит судьба по Илиаде
на эти две проигранных войны.



НИКОЛАЙ ТИФОНТАЙ.
ВАЛЬС ШИНУАЗРИ. 1910*

Ноты открыв, современник, прикинь,
цитра нужна или надобен цинь,
может, уж лучше играть на трубе
песню о старом китайском столбе,
старом, китайском,
о пограничном столбе.

В прошлое пристально нынче смотрю,
вижу, как ты пособляешь царю,
вижу, как даришь России Китай,
старый купец Николай Тифонтай,
старый, китайский,
старый купец Тифонтай.

Только и ты на меня посмотри,
старый хабаровский шинуазри,
старый купец, а скорее, герой
родины первой, а больше второй,
родины первой,
или, скорее, второй.

* В 1886 году в качестве переводчика Тифонтай участвовал в русско-китайских переговорах об уточнении границы, в которых отстаивал интересы России. Во время переговоров Цзи Фэнтай обманул своих соплеменников, что привело к тому, что они поставили пограничный столб не в том месте, в результате чего к России отошла значительная территория под Хабаровском (Китай смог вернуть ее лишь в 2005 году), Китайцы считают Тифонтая «изменником» и «предателем» Как «мягко» выразился о нем генерал-губернатор провинции Цзилинь Цао Тинцзе, «внешность китайская, сердце русское».

Ты, переводчик, конфликт погасил,
в пользу России кусок откусил;
более века убрать не могли
столб на границе китайской земли,
столб на границе
древней китайской земли.

Видно, приятно казалось тебе
больше не думать об этом столбе,
и от него не пускаться в бега,
русской империи верный слуга,
русского трона
верный китайский слуга.

Пусть из-за спора над старой межей
родина первая стала чужой,
но из холодных российских чужбин
ты возвратишься однажды в Харбин.
ты возвратишься,
ты возвратишься в Харбин.

Воздух болотный туманен и хмур,
Сунгари плещет, впадая в Амур.
десятилетия идут как полки,
ты похоронен у желтой реки,
смотришь на север
с берега желтой реки.

Пыльная даль за рекою темна,
тихо амурская плещет волна.
Видно, ты счастлив такую судьбой,
более русский, чем русский любой,
более русский,
нежели русский любой.

В памяти давние годы свежи.
Цитру закрой, да и цинь отложи.
Вместе с Россией века скоротай,
старый купец Николай Тифонтай,
старый, китайский,
старый купец Тифонтай.



ИВАН МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ. 1918

Зачастил пономарь, и его хрипотца
говорит: небогатými будут поминки,
и не тешит печальное сердце скупца
миллион, разделенный на две половинки.

Значит, мало украл, коль вечерней порой
был в расход уведен на чухонские пожни,
потому что как раз половинки второй
не хватило на подкуп советской таможни.

Ты, казалось, повсюду натырил с лихвой,
цирковой акробат, разбитной человек:
то ли ты из дворян, то ли папочка твой –
знаменитый еврей и фальшивомонетчик.

То ли ты кальвинист, то ли ты духобор,
то ли мудрый раввин – выпускник ешибота,
то ли крупный шпион, то ли попросту вор,
для которого кража – всего лишь работа.

То ли скупщик рыжья, то ли взломщик простой,
при отмычке, ноже, топоре и киянке,
греховодник отчасти, отчасти святой,
добровольный наемник российской охраны.

То ли шахматный конь, то ли шустрый конек,
что стоит близ кобыл, полагаясь на случай,
мастер тихо лежать и бежать наутек
к драгоценной заначке в норе бурундучьей.

Предлагая лошадке дрянной сеновал,
между тем ты сулил золоченую сбрую:
если ты полмилльона легко своровал –
что же ты не украл половину вторую?

Ты к вершинам взлетал и спускался на дно,
упиваясь врожденною хитростью змея;
и, бывало, удачно играл в казино,
совершенно при этом играть не умея.

Оставались война за войной позади,
обрастать орденами входило в привычку:
ты Владимира гордо носил на груди,
а под ним Изабеллу носил, Католичку.

Ты любого просителя гнал за порог,
и всего-то листок доставал из бювара,
и, царапая наскоро несколько строк,
извлекал из чернильницы литры навару.

Но страдал от своих же неспрятанных шил,
не умел отрешиться от жизни хорошей,
понемногу слабея в дороге, спешил
от тюрьмы до тюрьмы, от галоши к галоше.

Осознав, что судьба у тебя не ахти,
ощутил себя спицей в чужой колеснице,
но, с портфелем брильянтов пытаюсь уйти,
был опознан женою на финской границе.

Ты стоишь на снегу: натуральный пингвин,
и, бессильно смотря на рубеж вождеденный,
улетаешь в дыру между двух половин
неудобосказуемой части вселенной.

ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ. КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ. 1918

...салат из картофеля: сварить в соленом кипятке картофель, очистить, нарезать ломтиками, смешать с 3 ложками прованского масла, 2 ложками уксуса, солью, перцем и рубленой зеленью.

Елена Молоховец.

Подарок молодым хозяйкам

Решив перекусить, не стражди ананаса.
Селедку не ругай и лука не бесчесть.
В родном Архангельске вполне хватает мяса,
и рыба всякая обычно тоже есть.

Сколь ни блюда поста, диету ни тетёшкой,
святого из себя великого ни строй –
не накормить семью немытою картошкой,
ни петухом живым, ни мойвою сырой.

Напротив! Для стола продумай каждый атом,
на многом экономя, но мужа удивляй,
к примеру, свеклюю, картофельным салатом
с куриной, праздничной котлетой де-воляй.

...Но в будущем, в бреду, безумствует потомок,
за преступления готов стоптать тебя,
за то, что речь вела про осетров и сёмог,
прислугу верную мордюя и гнобя.

Он опознает грех во пироге капустном,
объявит огурец едой для баронесс,
картошку назовет деликатесом гнусным
и в луковке узрит омара бордолез.

В кадушке с медом он увидит дегтя ложку,
ему любой рецепт – что корабельный бунт,
хоть куры на Сенном пять штук всего за трешку,
а семга и осетр всего полтинник фунт.

...Пусть хоть не с первого, так с третьего захода
пятнадцати столов решительный адепт
тебя предпишет звать врагинею народа,
воруя у тебя любой второй рецепт.

Однако же не всё решит тираж суммарный,
и родина тебя не бросит под каблук,
не сможет запретить инспектор санитарный
ни суп картофельный, ни огурец, ни лук.

...Ничем не удивить ни Колыму, ни Яик,
тут скатерть каждая – что самобраный плат.
Не первый миллион признательных хозяек,
священодействуя, готовят твой салат.

Он скромной трапезе и лучшему застолью
вполне достойною прибавкою порой.
Всего и нужно-то – картофелина с солью,
а если две иль три – так это пир горой.

Не надо бы страну корить великой пьянкой,
когда закуски нет ни рядом, ни окрест,
а кто дает рецепт с намеренной подлянкой –
так видно же всегда, что он того не ест.

Он праведен во всем, он совесть полирует,
но лишь тебе прощать что тигров, что овец:
кто хочет воровать, так пусть себе ворует,
он – призрак ледяной, а ты – Молоховец.

Ты о хулителях не думай, бога ради,
не создадут они ни фарша, ни котлет, –
пусть горько умирать в безбожном Петрограде,
пусть завершив дела, пусть в девяносто лет.

Но прянет в небо свет и разрешит загадку,
но память о тебе не порастет травой,
и через сотню лет отправят в допечатку
не только Библию, но и подарок твой.



ФИЛИППИКА

Задаются вы на макароны...

Георгий Иванов

Счастливец в мире тот, кто ест хоть иногда!
Кто ничего не жрет – одну чернуху лепит.
...Придется посему все долгие года,
к говяжьей студени таить священный трепет.

Легко ли въехать в рай на голоде верхом?
Сколь долго разум ты рецептами ни пичкай,
а все не будешь сыт, – и яростным стихом
начнешь сражение с тупой молоховичкой.

...Как щуку позабыть? Не думать о леще?
О раках жареных? О, есть ли в реках раки?..
Державина читать бесплодно и вотще:
нет в мире пирогов, как нет и кулебяки.

Блажен, кто голод свой смиреньем забодал,
что ж до Державина – нет выдумщика краше,
в том нет сомнения: он сроду не видал
шекснинской стерляди, ни даже пшенной каши.

Наздравствоваться кто б возмог на каждый чих,
все мысли о жратве пора услать за скобки.
Чума бы забрала всех тех молоховчих,
что смеют петь супы и лживые похлебки!

Желудок, что же ты идешь на поводу?
Где счастье? Нет его в маисе и редисе.
Когда бы только знать, кто изобрел еду –
поймать ту гадину, да врезать во усысе.

Во имя ли харчей вести борьбу за трон?
Ужели сыщешь смысл в убогих этих мансах?
Кто слепо верует в кастрюлю макарон,
тот ярый солипсист, погрязший в декадансах.

Конечно, можно бы в историю не лезть,
почета нет рабам работы иждевенской,
кто может уяснить, насколько выше честь
каракалпакская – таджикской и туркменской?

Так сгинь же, требуха, и проклят будь, сычуг,
смирjali дух постом умеренные предки, –
и твердо помнит плоть, что ни к чему для слуг
в тарелках оставлять богатые обьедки.

Возможно ли судьбу оплакивать сию?
Кто выбирает путь, тот за него в ответе.
Кто проклял эскалоп, тот возносить в раю
навеки обречен моление о котлете.



ГЕНЕРАЛ ХАРЬКОВ. 1919

Кириллу Еськову

Мы не можем сказать русским, борющимся против большевиков: «Спасибо, вы нам больше не нужны. Пускай большевики режут вам горло». Мы были бы недостойной страной!.. А поэтому мы должны оказать всемерную помощь адмиралу Колчаку, генералу Деникину и генералу Харьковку.

Дэвид Ллойд Джордж, 1919

... и полагала, между прочим,
что Харьков – русский генерал.

Владимир Набоков

Мы выступаем завтра на заре,
и посему поберегите нервы.
Полковник Вятка выстроит каре,
а граф Тамбов ответит за резервы.

План наступленья, в сущности, таков:
кольцо вокруг врага затянем туго –
в кустах заляжет подполковник Псков,
рванет в атаку генерал Калуга.

Корнет Дербент, чуток попартизань,
тылы врагов перешерсти немного.
На левом фланге – капитан Рязань.
На правом фланге лейтенант Молога.

Когда же ниспадут лохмотья тьмы
и разгорится свет на небосклоне,
легко издалека увидим мы:
марширен унзре бессере колонне.

О да, суровы правила войны!
Сомнения куда подальше спрятав,
вступают в бой черкесы-пластуны:
подъесаулы Витебск и Саратов.

Победы нашей миг да будет свят!
Сверкают сталью наши рукавицы,
нас, провожая в бой, благословят
великие княгини Черновицы.

Да, эта драка будет весела,
но горожан ничем не потревожит.
Поднимет меч барон Махачкала,
и каждый комиссар в штаны наложит.

Пускай Россия хлещет брандахлыст,
но лишь майор Смоленск упрется рогом –
не устоит кровавый большевист
пред генерал-майором Таганрогом!

Я думаю, примерно к Рождеству,
чтоб дать закончить пьесу драматургу,
мы предоставим маршала Москву
военному хирургу Петербургу.

Мы за победу намешаем ёрш
и выпьем в честь свободы древнерусской,
и в провансале квашенный ллойд-джордж
окажется отличною закуской.



МОНАХ ИННОКЕНТИЙ. ИВАН ЛЕВИЗОР. 1919

Во что же ты, милоч, немислимое влип?
Тебе не избежать внимательного взора.
Иван Васильевич, негоголевский тип,
носивший гордое прозвание Левизора.

Рабы Молдавии душою не кривят,
их дело – выпивка, да горький дым от люлек.
А ты блаженствуешь: отчасти пустосвят,
отчасти психопат, отчасти просто жулик.

В подземном подвиге ты совершал труды
во имя не медов, а токмо пчел единых,
пророк, не внемлющий предвестиям беды,
крестьянский отченька в лохмотьях пестрядинных.

Ну и к чему топтать державную мозоль?
Чем это кончится – смотреть не надо в книгу.
Короче, из пещер уматывать изволь,
и в Каменце вкушай святую мамалыгу.

Но снова настучал какой-то доброхот:
а для чего и как – теперь узнать откуда ж?
Решил не то Синод, не то секретный сход
на покаяние сослать Ивана в Пудож.

Но Бессарабия не ринулась в запой,
у криволавия похитила добычу,
и на ковре поплыл над радостной толпой
пророк в ближайшую распахнутую кичу.

Свободу вновь обрел, но был зело строптив,
и возносить хвалы ему пришлось недаром,
многоглаголаньем судьбу не отвратив
во Анзерском скиту отнюдь не гогошарам.

Зачем ты тут сидишь: давай начистоту.
Тут холодна вода и небо вечно хмуро.
К чему бы рыпаться у Никона в скиту?
Да только рыпанье и есть твоя натура.

Ответа на вопрос не ждал, да и не жду.
Случилось, что пророк, как то бывало ране,
с трудом освобожден в семнадцатом году,
но в девятнадцатом уже убит по пьяни.

Из мрака лишь Господь извлечь умеет свет,
но тьма беззвездная умеет стать безлунней,
и виноват ли кто, что исполненья нет
предвозвещаниям татуней и мамуней?

Болота смрадного владыки не сомнут,
зато оракулы останутся при деле,
а если Страшный Суд не через пять минут,
так точно говорят, что через две недели.

Тут дела не на час, скорее – на века.
Расстегивай кошель: вон там, за печкой – касса.
Что пользы длить рассказ про белого бычка?
А то, что у него – божественное мясо!

Мчит гомилетики несохнувший ручей,
один лишь календарь меняет этикетку,
и длится под напев румынских скрипачей
игра не в преферанс, а в русскую рулетку.



ОЛЬГА ФОН ШТЕЙН. 1924

То в седле золотом, то верхом на еже
по незримым истории тропам
этот странный птенец из яйца Фаберже
проскакал по России галопом.

Вековушина доля всегда тяжела,
женихи – будто мертвые души,
но подумал арфист – «эх, была не была»,
и женился на той вековуше.

Было ей двадцать пять, а ему шестьдесят,
тучи сплетен пошли по народам.
Но слова как лапша на ушах не висят:
дело кончилось просто разводом.

Новый муж оказался почти генерал,
на него бы ей надо молиться,
только вздумалось дамочке, черт бы побрал,
возжелать золотого корытца.

Не фамилию надо менять, а судьбу,
неуместен удел содержанки.
Для корытца того золотую избу
столбовой захотелось дворянке.

Там брильянтами будет отделан бассейн,
не устроит иное царицу:
потому как несложно для Ольги фон Штейн
с Эрмитажа продать черепицу.

Взятка здесь, взятка там, началась чехарда,
но она приготовилась к драме,
улизнувши едва ль не из зала суда,
очутилась в каком-то Майами.

Во Флориде бы так и осталась она,
впрочем, думать об этом – наивно.
У России рука не особо сильна,
но длинна до того, что противно.

Что сильнее, чем взятка, в родной стороне?
Тут кого бы не взяли завидки?
Пребывала судьбою довольна вполне
от отсидки до новой отсидки.

И опять революции муторный бред,
хрен последний без соли обглодан.
На дворянскую честь покупателя нет,
но еще Эрмитаж не распродан.

Власть советская всех изваляла в дерьме,
в коем стразы хранить неуместно.
Оказалась она в Костроме и в тюрьме,
а точней – ничего неизвестно.

Кострома не Москва, ибо верит слезе.
Даже годы ее не губили.
И опять в ка-пе-зе на кривой на козе,
и оттуда – на сивой кобыле.

При Советах непросто прожить без рыжья,
и в финале той жизни нелепой
вместе с дворником, выбранным ею в мужья,
торговала капустой и репой.

И уже не слышать провожающих лир,
дозвучала соната до точки:
разместился в прологе отец-ювелир,
а в финале – капуста из бочки.

АНАТОЛИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ. АКАДЕМИК. 1933

По мощам и елей.

Патриарх Тихон

О, как привычна песня эта, как знакома!
Вот вам история советского наркома!
Его не тюкнули по темечку в притоне.
Его прикончили на отдыхе в Ментоне.

Не хоронил его никто на белом танке,
лишь в стенку с зубчиками сунули останки,
там, где похрапывал смиренно дядя Вова,
чье тело мертвое куда живей живого.

Стать порывался дядя Толя мушкетером,
однако выглядел домушником матерым,
хотел казаться капитаном де Тревилем,
но дирижировал убогим водевилем.

Имея опыт в токованьях глухариных,
не забывал он и о прима-балеринах,
и, пребывая полномочным наркомпросом,
угробил все, во что совался длинным носом.

В его речах цвела великая мудренность,
альтернативная кипела одаренность:
она грозила тем проектом страховитым,
чтоб мы писали древнеримским алфавитом.

Умело Гоголя оставив без шинели,
он верным был антрепренером Розанели,
и хлопал крыльями над фильмом меримейным,
считая дело это бизнесом семейным.

На Круглый рынок с вождением глаза,
он полагал, что это круче Колизея,
и видел в Хитровке российский Капитолий
наш знаменитый Луначарский Анатолий.

Усами тощими в истории отпрядав,
он стал любимой иконой казнокрадов,
и в полный цурес превратил последний нахес
наш знаменитый академик Крошка Цахес.

Он и теперь, на зависть прочим сибаритам,
с непролетарским хочет справиться ивритом,
и всё, что сдохло, озирает отрешенно
без Бома Бим и сущий Пат без Паташона.

Откуда выползли безвестные грязнули,
за что и как его в Ментоне мочканули, –
не надо думать, потому как сгнили зерна,
и это вовсе не смешно, а тошнотворно.

Воспоминания о Толике подмокли,
но след останется в предложенной Эль Чокле,
и не унизит даже слабая гримаса
великий город кавалера де Рибаса.

Одни смеются, а другие плачут люди,
припомянув свияжский памятник Иуде,
но дяде Толе будет памятник обычный:
кол из осины перед стенкою кирпичной.



АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ. СТАКАН ВОДЫ

Любовь, как стакан воды, дается тому, кто его просит.

Жорж Санд

Когда цветет черемуха, то горе – не беда,
в том истина простая и пустая.
Но бережет история, сгорая со стыда
супругу генерала Коллонтая.

Он тем и окрутил ее, что был довольно туп,
и потому не стал бы пить цикуту:
любой, кто прежде сватался, и получал отлуп,
стрелял себе в висок сию минуту.

Что ж, ежели он собственник – так мать его туды.
Кому-то кнут, ну, а кому-то пряник.
И если выпить хочется тебе стакан воды –
то подставляй широкий подстаканник.

Тот, кто иначе думает, не смыслит ни шиша.
Не зря вовек не ведала афронта
натура пролетарская, рабочая душа
невероятной правнучки Довмонта.

С ней женщин революции ни в чем мы не сравним,
она мужчинам не давала спуску:
любила и Саткевича, да и Дыбенко с ним,
и Шляпников годился на закуску.

Ее любили мичманы, любила голытьба
и труженики темного застенка,
а место, на которое взнесла ее судьба,
не снилось никакой мадам Биценко.

Добро порою делала, порой бывала зла,
способствовала красному прогрессу.
С ней даже тиф не справился, холера не взяла,
хоть слопали Ларису и Инессу.

Увы, нарком призрения ответить не готов,
что лучше – чечевица иль овсянка;
цвела средь лилий тигровых и полевых цветов,
прекрасная российская росянка.

Умея бить арапником и цирковым бичом,
а также и похлопывать перчаткой,
поняв заблаговременно, что будет и почему,
заделалась советской дипломаткой.

Поспорить не желавшая о пользе и вреде
весною расцветающих черемух,
специалистка главная по пиву и воде,
и в остальном бабенция не промах.

Едва ли повстречаются святоши и ханжи
меж тех, кто вечно жаждет жаркой ночки.
Ты, если пить захочется, то попросту скажи
и получиай воды четыре бочки.

А если просишь пятую – так тоже не впервой.
Вот так и цвел среди советских кочек
Элладою подаренный культуре мировой
сей плотоядный аленький цветочек.

В твоём прекрасном имени – стодолларовый хруст.
Когда помрешь – начнется истерия,
и в каждой Александровке тебе поставят бюст,
и вознесет хвалы Александрия.

Бывает, грех отказывать в потребности мужской
гусарам или даже комиссарам.

Лишь хорошо бы в будущем, встречая тип такой,
яичницу не путать с божьим даром.



АНАСТАС МИКОЯН. КОТЛЕТА ЗА ШЕСТЬ КОПЕЕК

Не надо ездить на равнины Аргентины!
Мы сами видели ужасные картины,
того, как мафия террором наслаждалась:
нашла механика и отрядила в Даллас.

Не так уж сложно было выследить пижона –
и на привозе застрелили дядю Джона.
И очень скоро – это ясно и ребенку –
в Москву любезную послали похоронку.

А кто ж за стерлядью нырять не хочет в тони?
А кто ж не хочет погулять на Арлингтоне?
Как знатока забоя живности на мясо,
послали в Штаты Микояна Анастаса.

Он там бывал уже. Предположить рискую:
в тридцать шестом узнал про булку городскую,
он путешествовал родной стране на благо
и майонез купил на выставке в Чикаго.

Ему случалось ошибаться очень редко,
ему понравилась дешевая котлетка,
но вот с шампанским пролетел он дюже круто,
не оценил товарищ Сталин марку брота.

Не оставаться же наркому непощенным!
Не поскользнулся он на молоке сгущеном,
хотя и жаль: страна валютой заплатила,
на кока-колу денег просто не хватило.

Был Певзнер вызван для научного подхода.
В мученьях творческих прошли три долгих года.
И завертелась катавасия по новой
в известной книжице о вкусной и здоровой.

О прочем стоит рассказать уже без понта,
он добывал харчи где только мог для фронта,
и не торгуясь наливал, сказать по чести,
сто грамм наркомовских, а иногда и двести.

Был Анастас лицом страны, ее кумиром,
он угощал народ немислимым пломбиром,
и выручала нас не столько этикетка,
но то, что шесть копеек стоила котлетка.

Не изменялся главный принцип Микояна:
не лезть в политику уж так особо рьяно,
и не преследовать уж так особо круто
тех, кто решался соблюдать закон кашрута.

Шутом гороховым полвека проработав,
он персонажем был бессчетных анекдотов.
Болтали сплетники о короле бобовом,
который Кеннеди видал в гробу дубовом.

Путь в голодание был властью твердо задан,
она дышала не на суп, скорей на ладан,
и отошла в века, откушав напоследки
той знаменитой микояновской котлетки.

...Пора провизии купить на главном рынке,
пора устроить благодарные поминки,
свечу затеплить, постоять при аналое,
молясь о ней, навеки канувшей в былое.

ОЛЬГА БИЧ. ОЦЕНЩИЦА. 1983

Вечность, давай, сочини заголовок!
Эта персона – не просто жульё.
Ей ли червонцев не знать и подковок?
Кто в Ленинграде счастливей нее?

Пуфик в углу, на окошке столетник,
в прошлом единственный спрятан изъян –
батя-сенатор, надворный советник,
черная кость из безвестных крестьян.

Годы советские скучно понуры,
серы, бедны и бессмысленны, но
в душу хранителя слепков скульптуры
время ссыпало горох и пшено.

Бродят доселе неясные толки,
правда ли очень была тяжела
служба оценщицы на барахолке
или довольно непыльной была.

Разве не славно служить в Эрмитаже,
сильные страсти в душе затая,
аукционщицей на распродаже
книг, и картин, да и просто рыжья.

В царских карманах – широкие дырки,
но не для всяких кремлевских цыган.
Ящик для краденой всей ювелирки
сделал умелец по имени Ган.

В этом раскладе никто не в накладе
и потому-то в уютном дому
о трехсотлетии и о блокаде
нынче и помнить уже ни к чему.

Брошечка, брошечка, крошка-матрешка,
сытая старость, полнейшая дичь,
скрытная стерва, зловещая кошка
Ольга Ивановна, бабушка Бич.

Мрачно над Смольным полощется тряпка,
все неприятности чует нутром
бабка-процентщица, вечная бабка,
вот и ходи на нее с топором.

Ладно, что все упокоимся в мире,
но несомненно грядет торжество.
Бабке всего девяносто четыре,
до реституций – всего ничего.

Но огорченье ее судомойке,
жаль, дожила до прощального дня:
Чичиков весело скачет на тройке,
бабушку в вечность несет шестерня.

Жизни подобной, понятно, не жалко,
но и задобрить не выйдет судью.
Похоронила тебя коммуналка,
и поделила жилплощадь твою.

Нынче никто не заходитя в плаче,
лишь у соседей нема терпежу, –
бабушка, словом, реквизиат ин паче,
и ничего сверх того не скажу.

КОДА

Галерея почти безымянных портретов:
кто писал их? Пожалуй, проблему замнем.
Даже автору этот предмет фиолетов,
и обычно не хочется думать о нем.

Точно битая в сотне сражений фаланга,
безнадежно о горькой судьбе вопия,
проплывают экраном, как тени ваянга,
характерники, воины, дурни, князья.

Если вдуматься, это как раки в запруде:
если руку не сунешь – так нет ничего.
Утонувшие в вечности мелкие люди,
те, которых повсюду всегда большинство.

Вознося и клеймя, расстригая и схимя,
не особо поймешь – кто дурак, кто умен.
От одних остается невнятное имя,
у других и совсем не отыщешь имен.

Разбираться во всем бесполезно и втуне.
Что попало берешь – слишком выбор велик.
Так непросто взглядеться на старой парсуне
в чей-то темный, подернутый патиной лик.

Кто скрывался в скиту, кто скитался по шлюхам,
и у каждого некий великий секрет, –
набредешь на пергамент с отрезанным ухом
и за краешек тянешь героя на свет.

Выступает из сумрака кто-то и некто,
и пытается жить, как комар в янтаре,
изрыгая неясный поток диалекта,
для которого слов не найти словаре.

Поначалу он кажется выползком вражьем
и едва ли окажется другом потом,
вот и возишься с каждым таким персонажем,
сквозь века продираясь в тумане густом.

Лечь обратно никто не желает в могилу,
им плевать, что не годен из них ни один.
Ни к чему сочинять про Андрея Кобылу.
Он и так безнадежный Ходжа Насреддин.

Чем-то каждого в прошлом судьба запятнала,
и за слабость не гневайся, Боже, на ны:
много книг составлять – не дождешься финала,
да и лишние буквы для зренья вредны.

Имена про запас остаются в тетради,
на подрамниках чисто, и рамы пусты –
но не так уж и мало висит в анфиладе,
и не зряшно художник потратил холсты.

И не надо стремиться уйти поскорее,
даже если осмотр невзначай утомил,
потому как последним в своей галерее
остается Витковский Евгений-Камилл.

СЛОВАРЬ

- Абрашка* – поморское название детеныша тюленя.
- Абшид* – почетный отзыв-рекомендация при отправлении иностранца за границу.
- Августит* – аквамарин глубокого синего цвета.
- Акиба* – кольчатая нерпа.
- Алабуш* – блин.
- Анисья* – Анисья Лаврушина, купчиха, давшая имя переулку.
- Антавент* – упоминаемый в былинах драгоценный камень (неясно, какой).
- Аргиш* – стрела с наконечником, напоминающим трезубец.
- Ардыш* – дерево арча.
- Аркуда* – медведь.
- Арцух* – герцог.
- Аскер* – солдат.
- Байдаковский пирог* – купеческая кулебяка с начинкой в 12 слоев.
- Байдана* – разновидность кольчуги.
- Балангус* – бледный рубин.
- Батыев шлях* – Млечный путь.
- Бахмач* – северный ветер.
- Белир* – берилл.
- Буздыган* – гетманская булава.
- Бухарник* – стакан (*офенский язык*).
- Взводень* – очень высокая волна.
- Вода* – на Белом море (т.е. на Гандвике) – прилив и отлив, «две воды» – сутки.
- Вскую* – зачем, для чего.
- Гамалейка* – шкатулка для драгоценностей.
- Гардекор* – телохранитель.
- Гезель* – от голландского *geselle* – помощник врача в российской империи.
- Голомя* – открытое море.
- Грэхнуло* – досталось много более ожидаемого количества.
- .

Девятишкурочный – ненцы сдавали ясак связками по девять шкурок.

Десюдепорт – живописное или рельефное панно над дверьми.

Дикомыт – сокол, пойманный для охоты несколько раз перелинявшим на воле.

Жардиньерка – комнатная напольная подставка под цветы.

Заберзат – индийский хризоберилл (по другой версии – аквамарин).

Зарубила вода – только что начала прибывать или убывать (прилив и отлив).

Заушница – трещины за ушами.

Зорники, пазори, отбели – термины полярного сияния.

Иголь – ступка для белил.

Изневага – принуждение, стеснение.

Калаиг – бирюза.

Камчат – подагра.

Карагод – хоровод.

Кенасса – караимская синагога.

Кибирь – большая свистящая стрела (она же «свист»). Под наконечником стрелы находился выдолбленный шарик с двумя отверстиями с двух сторон, чтобы при выстреле они издавали свист. Лоси, косули и благородные олени при этом свисте останавливаются и прислушиваются до тех пор, пока стрела не вонзится в их тело.

Кибить – основная часть (спинка) лука.

Клейноды – булава, печать, бунчук и прочие символы гетманской власти.

Кончар – прямой и узкий длинный меч.

Корзанка – рыба колюшка.

Корфяной – пробочный.

Кошленок – детеныш калана (морского бобра).

Ксени – икра, главным образом частичковых рыб, в оболочке.

Кустодий – страж.
Лоший – лосиный.
Макса – рыба печень.
Маркетри – декоративная фанеровка виде мозаики из фигурных кусочков дерева.
Махагон – красное дерево.
Медведно – полость из медвежьей шкуры.
Мень – налим (род. падеж мн. ч. – «мней»)
Микола и Михайло – Чернышевский и Михайлов.
Многокобзовитый – выгодный, самодостаточный (термин *Посошкова*).
Мукаррабун – в исламе один четырех ангелов высшей ступени.
Налуч – чехол для лука.
Недолись – не сменившая окраску лиса (красная ценилась выше других).
Нефрудий – нефрит.
Ниппон – Япония.
Нутрец – кашель с одышкой.
Одекуй – бисер.
Одинец – черный соболь, самый дорогой.
Окорм – отравление ядом.
Окротеть – успокоиться.
Окунеть – принять рыжий (куний) цвет.
Оскордец – боевой топорик.
Острядь – острый кончик соболиного хвоста.
Остяцкий Лось – Кассиопея.
Отметная икра – черная икра высшего сорта.
Падевый мед – собирается пчелами в засушливый год не с цветов, а с сахаристых насекомых.
Пазыби – круги на песке.
Переладец – набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.
Перелявть – переливт (отделочный камень).
Пеструшник – пьяница (*офенский язык*).
Полотуха – берестяная коробочка для соленой рыбы.
Полчетыреста – триста пятьдесят.

Помытчик – ловец диких соколов.

Прыск – заболоченная местность, удобная на соколиной охоте. ср: «Я (Царь Алексей Михайлович) поехал к Суцеву да наехал прыск (место, где много налило воды), водою налило...».

Псише – большое, свободно стоящее зеркало на подвижной раме.

Расперстица – воспалительные процессы между пальцами.

Рватва – рвущая боль.

Реквискат ин паче (R.I.P.) – покойся с миром.

Розмысл – инженер.

Росолник – сосуд в виде чаши или вазы на подставке.

Ряп – рябчик, куропатка.

Сверье – Швеция. Карл XII действительно был застрелен пуговицей.

Северга – стрела с неизвлекаемым наконечником, по другой версии – простая, узкая.

Семояди – самоеды (т.е. ненцы).

Серепетин – камень-змеевик.

Сиволдай – самый грубый самогон.

Слезина – селезенка.

Срезень – стрела со срезанным наконечником, предназначенная для нанесения широкой резаной раны.

Стомах – желудок.

Супé – ужин примерно в полночь.

Сустуги – застежки.

Схаб – звено осетрины или белуги, кусок реберной части пласта.

Сырть – рыбец.

Татаур – шитый золотом, боярский пояс.

Таусин – сапфир или лабрадор с расветкой павлиньего пера.

Тирон – упоминаемый в летописях драгоценный камень (неизвестно, какой).

Томар – стрела с тупым наконечником, применявшиеся для охоты на пушного зверя, чтобы не повредить ценную шкурку.

Трафилки и хрусты – копейки и рубли (*офенский язык*).
Тумпаз – топаз.
Туркиз – бирюза.
Тымф – здесь: мелкая серебряная монета, чеканившаяся в Москве для Пруссии.
Уйчич – племянник, сын дяди по матери.
Усерязь – височная подвеска к кокошнику.
Харалужный – булатный.
Циммер – полтора сорока (т.е. 60 шкурок пушного зверя).
Чекан – боевой молот (реже – топор).
Челиг – сокол (самец).
Чепучина – тесная деревянная камера, куда сажали больного, чтобы он дышал парами разных распаренных растений.
Шадра – кость моржового клыка.
Шармицель – стычка между небольшими отрядами.
Шелоник – юго-западный (теплый) ветер.
Шерть – вассальная присяга.
Шинуазри – китайский стиль, «китайщина».
Шкерить – чистить и потрошить рыбу.
Эбен – черное дерево (вид хурмы).
Юро – сплошной косяк рыбы в воде.
Ядринский лук – турецкий, от названия города Эдирне (не путать с г. Ядриным).

Без разъяснения оставлены названия, появляющиеся в тексте перечислением: названия одежды, кухонной утвари, кушаний и пр. – многое пришлось бы рисовать, чего автор не умеет.

То же относится к лексике криптоязыков (почти исключительно офенских).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Сад Эрмитаж</i>	5
--------------------------	---

РАЗГОВОРЫ В ЦАРСТВЕ ЕЩЕ ЖИВЫХ

«Здесь, на земле, странной пускай и неживой...».....	8
«Черное масло осенней реки...»	9
«Вот и подошли мы то ли к перекрестку...»	10
«Не понять – не постичь – не сберечь – не увлечь...»	11
«А я ведь не знаю, какое сегодня число...»	12
«Эту цепочку ломкою строчкой увековечу...».....	13
«Природа слагает зеленое знамя ислама...»	14
«Снежный ветер ко дню Покрова...».....	15
«Мир, от жаркой тревоги усталый...»	16
«Нынче и завтра не то, что прежде и раньше...».....	18
«Не стоит сердиться, доверившись картам гадальным...» ..	19
«Над всей Испанией ночь и туман...».....	20
«Мой друг, не жалуйся, не сетуй...».....	22
«Жертвенный знак треугольной звезды...»	24
«То ли вздремнуть еще, то ли пора...».....	25
«Не нужен песок, ни к чему перегной...»	26
«Тот, чье вечное место за правым плечом...».....	27
Заговор от оружия.....	28
«Остался чуть заметный след...»	29
«Кого не надо громко славили...»	31
«День миновал, и в шесть часов...»	33
«Вопросы спрятались в ответах...»	34
«Сопрели древние веретья...»	36
«Достойно есть поговорити...»	37
«Вот опять на свете смута...»	39
«Опять разбуженное лихо...»	41
«Устроясь на гнилой соломе...».....	42

«Лежит, разобран по коробьям...».....	43
«Страшен, однако же с детства знаком...»	45
«Житье полдненное, холопское...»	46
«Коготь в петлице, полуденный гром...».....	48
Колыбельная на рассвете	49
«Лай собак, долгожданные свадьбы волков...».....	51
«Осколки зеркала, тринадцать за столом...»	52
«В лесу с темна и до темна...»	53
«Лабаза смрадного привратник...»	54
«Сюжет, возможно, и неглуп...»	56
«Зачем на востоке звучит канонада...»	58
«Хоть не выдумана обида...»	60
«Кто знал азарт – тот помнит годы ранние!..»	62
«Дыханье ветра и хлада...».....	63
«Не вороши обиды...».....	64
«Блекнет и догорает...».....	65
Элегия для Чарли.....	66
«Здесь славно, здесь курортный рай...».....	68
«Two Dublin Tickets? Стало быть, сюда...».....	70
«Воронинские давние блины...»	71
«Туя, туя, сказочная туя...».....	73
«Хурма, хурма! С тобой иду на штурм!..»	74
«Друзья, не зашибить ли нам дрозда...»	75
«Идут года под колокольный звон...»	76
«Что для печали – то и для веселья!..»	77
«С пергамента, велени и верже...».....	78
«Как жили странно мы и как сторожко...»	79
«Заслыша плеск реки студеной недалече...»	81
«Как хорошо на день-другой...»	82
«На доске расставляем фигуры. Итак...»	84
«Объят тревогой гарнизон...».....	86
«Страшной парабеллума, круче нагана...»	88
«Много ли стоят на рынке чудес...».....	89
«Тысячелетние древяне...»	91
«Осень любая всегда хороша...».....	92
«В вечерний час в который раз...»	94
«Книгу жизни листай не листай...».....	95

«Допустим, я видел граненый стакан...»	96
«Скажи, скажи мне, служба быта...»	97
«Всякому городу черный забор...»	98
«Сизоворонка, птица ракша...»	99
«Таланту краткость вовсе не сестра...»	101
«Взгляни-ка поживей...»	102
«Запаси мгновенья впрок...»	103
«Гой ты, утречко позорное...»	104
«Судьбина баснословная...»	105
«Невидимая спутница...»	107
«Аксинья-полухлебница...»	109
«Надев на прошлое аркан...»	110
«В чащах прячется неслышно...»	111
«Странные косточки плавают в супе...»	112
«Младой колдун и грамотей...»	113
Княгинюшка	114
Старьевщик	116
«Словно малая отметинка...»	118
«Ты не печалься, не тоскуй...»	120
Хитровка	122
Марьяна Роща	124
«Как сердце молодо под ветхою одежей...»	126
«В сокольничьем полуквартале...»	128
«На джинóm сыр ада пхен, ромалэ...»	130
«Говорят, времена миновали...»	131
«Не мешайте, Бога ради...»	133
«В мире нет ни ямба, ни хоря...»	134
«Благословенна круглая пшеница...»	135
«Спагетти, папарделле, фетучини...»	137
Прение ночное	139
«Нас едва ли оставят в покое...»	141
«Там, где еще, но не уже...»	143
«Облетают вянущие уши...»	145
«Медведь неубитый блуждает...»	146
Питер Брейгель. 1568	148
Джеронимо. Жизнь нескучная	150
«Возьми да и нарушь условия игры...»	153

«Кленовый лист – совсем не флаг Канады...»	154
«Тень креста завращалась...»	156
«Никонияне блядословят...»	157
«Знаю, у времени – два направления...»	159
«Весь род мой позабыт примерно поровну...»	161
«О Вена, ты столица, ты восторг...»	162
«Семья считала за позор...»	163
«Весьма скудны познания мои...»	164
«Он ростом был с некрупного клопа...»	166
«Тетка моя Лариса...»	167
«Сходились в доме, как два купца...»	168
«Минувшее – черней монашьей рясы...»	169
«Внук ветеринара и садиста...»	170
«Три кости брошены на каменную доску...»	171
«Здесь, под луной, город родной...»	172
«Одно с другим несовместимо...»	173

РУСЬ БЕЗНАЧАЛЬНАЯ

Увертюра	176
Петр Фрязин. Спасская башня. Конец света. 1492	178
Князь Семен Курбский. 1499	180
Хозя Кокос. Дипломат. 1501	182
Князь Иван Телепнев-Овчина-Оболенский. 1539	185
Князь Андрей Шуйский Честокोल. 1543	187
Протопоп Сильвестр. 1560	189
Наставление Анфиму. 1565	190
Генрих Штаден. Опричник. 1572	191
Якоб Ульфелдт. 1578	193
Элизеус Бомелий. 1579	195
Джером Горсей. 1584	197
Джайлс Флетчер. 1588	199
Князь Афанасий Нагой. 1591	201
Филарет в Сийском монастыре. 1601	204
Димитрий Кесарь. 1606	206

Лжедмитрий XVIII.....	209
Станислав Немоевский. 1606	211
Ганс Борк. 1610.....	214
Конрад Буссов. 1612	216
Федот Котов. 1623.....	218
Яков Хрипунов. 1630	220
Дружина Огарков. 1635.....	223
Посник Иванов прозвищем Ленин Ясачник. 1635.....	226
Петр Бекетов. 1636.....	228
Иван Грамотин. 1638.....	230
Адам Олеарий. Русь беспричинная. 1643	232
Тимофей Анкудинов. 1654.....	234
Князь Алексей Трубецкой. Опись казны патриарха Никона. 1658	237
Никита Давыдов. Царское зеркало. 1662	239
Гетман Петро Суховий Ашпат-Мурза. 1669.....	241
Соколиная охота. 1670.....	243
Парфений Тоболин. Сокольник. 1670	245
Князь Юрий Барятинский. 1671.....	247
Юрий Крижанич в Тобольске. 1672	249
Царица Наталья. 1672	251
Алексей Лодьма. Стрелец. Пустозерск. 1682	253
Атаман Иван Сирко. 1680.....	255
Франц Лефорт. 1699	257
Мазепа в Бендерах. 1709.....	259
Игнат Некрасов. Заветы. 1710	261
Иван Посошков. 1724	263
Монах Неофит. Поморские ответы. 1725	265
Барон Василий Поспелов. 1730	267
Ян Лакоста. 1740.....	269
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. 1744.....	271
Джакомо Казанова в России. 1766	273
Готтлоб Курт Генрих Тотлебен. 1773	275
Антонио Санчес. 1782	277
Петер Симон Паллас в Крыму. 1794	279
Зимний путь.....	281
Прасол на Мезени	283

Бральщик на Северном	285
Семга	287
Афанасьев день.....	289
Алексей Мусин-Пушкин. 1817.....	291
Иван Варвацкий. Икра зернистая белужья отмётная. 1817..	293
Жанна де ла Мотт. Миледи. 1826	296
Генрих Гамбс. 1831.....	299
Степан Михайлов. 1846	301
Граф Януарий Толстой. 1846	303
Странники в ночи	305
Две Макарьевны. 1860	307
Всеволод Костомаров. Форель. 1865	310
Петр Кириллов. Около 1870	312
Пароход «Самарканд». 1881	314
Михаил Чайковский. Мехмед Садык-паша. 1886.....	316
Осип Черный. Трехполушковая опера. 1892	318
Вольдемар Витковский. Игра в фантики. 1901.....	321
Николай Судзиловский. Алоха Оэ. 1902	323
Вернер Цеге фон Мантейфель. Пуля в сердце. 1903.....	325
Евгений Максимов Трансвааль – Шахэ. 1904.....	327
Николай Тифонтай. Вальс Шинуазри. 1910.....	329
Иван Манасевич-Мануйлов. 1918	332
Елена Молоховец. Картофельный салат. 1918	334
Филиппика	337
Генерал Харьков. 1919	339
Монах Иннокентий. Иван Левизор. 1919.....	341
Ольга фон Штейн. 1924.....	343
Анатолий Луначарский. Академик. 1933	345
Александра Коллонтай. Стакан воды	347
Анастас Микоян. Котлета за шесть копеек	350
Ольга Бич. Оценщица. 1983.....	352
Кода	354
<i>Словарь</i>	<i>356</i>



Евгений Владимирович Витковский

Сад Эрмитаж

Стихотворения. Баллады

Генеральный директор *А. С. Артеян*
Редактор *О. Кольцова*
Корректор *Н. Федотова*
Верстка *Е. Кольчужкин*

Подписано в печать 18.04.2016 г.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Constantia».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,32
Заказ №

ООО «Престиж Бук»
ш41, Москва, 1-й проезд Перова поля, д. 11 А
E-mail: artug57@mail.ru



ISBN 978-5-371-00528-1



9 785371 005281 >

Издательство «Престиж Бук»
начинает выпуск новой серии

ПОЭТЫ  АНТАСТЫ

В этом году планируется выпуск следующих книг:

<i>Евгений Витковский</i>	Сад Эрмитаж
<i>Евгений Лукин</i>	Осталось пережить планету
<i>Даниэль Клугер</i>	Готическая ночь
<i>Артур Конан Дойль</i>	Ночной патруль <i>Перевод с английского</i>
<i>Жюль Верн</i>	Морфий <i>Перевод с французского</i>
<i>Говард Филлипс Лавкрафт</i>	Грибы с Юготта <i>Перевод с английского</i>

Удаляются глина и грязь из лотка.
Наблюденьем старатель на прииске занят,
чтоб осталась лишь горсть золотого песка,
из которого пусть что хотят, то чеканят.

Евгений Витковский